Друг моей юности (сборник)

Автор:
Элис Манро

Друг моей юности (сборник)

Элис Манро

Азбука Premium

Вот уже тридцать лет Элис Манро называют лучшим в мире автором коротких рассказов, но к российскому читателю ее книги приходят только теперь, после того, как писательница получила Нобелевскую премию по литературе. Критика постоянно сравнивает Манро с Чеховым, и это сравнение не лишено оснований: подобно русскому писателю, она «скупыми, но чудодейственными штрихами намечает контуры судеб или сложные взаимоотношения… это детально прописанные портреты – с легкими тенями и глубокой перспективой…» (The Washington Post Book World).

«В „Друге моей юности“ Манро сполна проявляет этот редкий талант, – писала газета The New York Times Book Review. – Подобно Рэймонду Карверу, она выписывает своих героев так, что читатели, даже принадлежащие к совсем другой культуре, узнают в персонажах самих себя».

Элис Манро

Друг моей юности

Alice Munro

FRIEND OF MY YOUTH

Copyright © 1990 by Alice Munro

All rights reserved

Серия «Азбука Premium»

© Т. Боровикова, перевод, 2019

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2019

Издательство АЗБУКА®

* * *

В «Друге моей юности» Манро сполна проявляет этот редкий талант: подобно Рэймонду Карверу, она выписывает своих героев так, что читатели, даже принадлежащие к совсем другой культуре, узнают в персонажах самих себя.

The New York Times Book Review

Манро – одна из немногих живущих писателей, о ком я думаю, когда говорю, что моя религия – художественная литература… Мой совет, с которого и сам я начал, прост: читайте Манро! Читайте Манро!

Джонатан Франзен

Она пишет так, что невольно веришь каждому ее слову.

Элизабет Страут

Самый ярый из когда-либо прочтенных мною авторов, а также самый внимательный, самый честный и самый проницательный.

Джеффри Евгенидис

Элис Манро перемещает героев во времени так, как это не подвластно ни одному другому писателю.

Джулиан Барнс

Настоящий мастер словесной формы.

Салман Рушди

Изумительный писатель.

Джойс Кэрол Оутс

Когда я впервые прочла ее работы, они показались мне переворотом в литературе, и я до сих пор придерживаюсь такого же мнения.

Джумпа Лахири

Поразительно… Изумительно… Время нисколько не притупило стиль Манро. Напротив, с годами она оттачивает его еще больше.

Франсин Проуз

Она – наш Чехов и переживет большинство своих современников.

Синтия Озик

Она принадлежит к числу мастеров короткой прозы – не только нашего времени, но и всех времен.

The New York Times Book Review

«Виртуозно», «захватывающе», «остро, как алмаз», «поразительно» – все эти эпитеты равно годятся для Элис Манро.

Christian Science Monitor

Как узнать, что находишься во власти искусства, во власти огромного таланта?.. Это искусство говорит само за себя со страниц с рассказами Элис Манро.

The Wall Street Journal

Манро неоспоримый знаток своего дела. Скупыми, но чудодейственными штрихами она намечает контуры судеб или сложные взаимоотношения, но это детально прописанные портреты – с легкими тенями и глубокой перспективой, – а не банальная дидактика. Как все великие писатели, она обостряет чувства. Ее воображение бесстрашно.

The Washington Post Book World

Проза Манро скользит сквозь время с проворным изяществом. Поэзия в ней высвечивает действительно серьезную повествовательность единственно верным образом.

San Francisco Chronicle

Великолепно… поразительно… Когда-то давно Вирджиния Вулф назвала Джордж Элиот одним из немногих писателей «для взрослых». То же самое и с полным правом можно сказать сегодня об Элис Манро. Она по-чеховски явственно ощущает своих персонажей.

The New York Times Book Review

Кажется, что Манро складывает все свои рассказы из нескольких тысяч слов и заставляет вас недоумевать, чем же другие прозаики заполняют оставшиеся лишние страницы.

The Philadelphia Inquirer

Блестяще… на самом острие эмоций… Манро замахивается на великие темы: любовь и смерть, страсть и предательство, ожидание и разочарование – тщательно прописанная, непритязательная проза.

The San Diego Union-Tribune

Аскетические и поучительные рассказы Манро о вожделении и потерях, возможно, даже более загадочны, чем всегда, и все же сквозь туман нет-нет да и замаячит нечто родственное надежде.

The New Yorker

Проза Манро интеллектуальна – она аккумулирует все, что в высшей степени необходимо знать читателю, но никогда не попирает и не принижает сути мистерии, которая и есть источник всякого великого искусства.

Chicago Tribune

Рассказы Манро словно пульсары, несколько поразительных чайных ложек весят тонны… вся сложность и богатство нюансов сконцентрированы на нескольких десятках страниц.

The Plain Dealer

Читать рассказы Манро – все равно что входить в густой лес в разгаре лета, настолько они богаты цепляющими деталями, игрой света и тени, полны шелестом неведомого бытия и плодородными запахами, но тем не менее тропа явно намечена и ведет к дивным местам и удивительным открытиям.

Booklist

В удивительно откровенных рассказах Манро, пронизанных состраданием к героям, прослеживается мысль: жизнь – это труд, и если мы подходим к этому труду с достаточной решимостью и упорством, то сможем прожить до конца достойно.

San Francisco Chronicle

У Элис Манро памятливый глаз художника. Она владеет почти совершенным пониманием мира ребенка. И у нее невероятное ви?дение канадского пейзажа.

Saturday Night

В хитросплетениях сюжетов Манро не перестает удивлять: банальные бытовые драмы оборачиваются совсем необычными психологическими ситуациями, а типичная ссора приводит к настоящей трагедии. При этом рассказ обрывается столь же неожиданно, как и начинался: Манро не делает выводов и не провозглашает мораль, оставляя право судить за читателем.

Известия

Все ее рассказы начинаются с крючочка, с которого слезть невозможно, не дочитав до конца. Портреты персонажей полнокровны и убедительны, суждения о человеческой природе незаезженны, язык яркий и простой, а эмоции, напротив, сложны – и тем интереснее все истории, развязку которых угадать практически невозможно.

Комсомольская правда

Все это Манро преподносит так, словно мы заглянули к ней в гости, а она в процессе приготовления кофе рассказала о собственных знакомых, предварительно заглянув к ним в душу.

Российская газета

Банальность катастрофы, кажется, и занимает Манро прежде всего. Но именно признание того, что когда «муж ушел к другой» – это и есть самая настоящая катастрофа, и делает ее прозу такой женской и, чего уж там, великой. Писательница точно так же процеживает жизненные события, оставляя только самое главное, как оттачивает фразы, в которых нет ни единого лишнего слова. И какая она феминистка, если из текста в текст самыми главными для ее героинь остаются дети и мужчины.

Афиша

В эти «глубокие скважины», бездну, скрытую в жизни обывателей, и вглядывается Элис Манро. Каждая ее история – еще и сложная психологическая задачка, которая в полном соответствии с литературными взглядами Чехова ставит вопрос, но не отвечает на него. Вопрос все тот же: как такое могло случиться?

Ведомости

Превосходное качество прозы.

РБК Стиль

Но даже о самом страшном Манро говорит спокойно и честно, виртуозно передавая сложные эмоции персонажей в исключительных обстоятельствах скупыми средствами рассказа. И ее сдержанная, будничная интонация контрастирует с сюжетом и уравновешивает его.

Psychologies

Рассказы Манро действительно родственны Чехову, предпочитающему тонкие материи, вытащенные из бесцветной повседневности, эффектным повествовательным жестам. Но… Манро выступает, скорее, Дэвидом Линчем от литературы, пишущим свое «Шоссе в никуда»: ее поэзия быта щедро сдобрена насилием и эротизмом.

Газета. ру

Американские критики прозвали ее англоязычным Чеховым, чего русскому читателю знать бы и не стоило, чтобы избежать ненужных ожиданий. Действительно, как зачастую делал и Антон Павлович, Элис показывает своих героев в поворотные моменты, когда наиболее полно раскрывается характер или происходит перелом в мировоззрении. На этом очевидные сходства заканчиваются, – во всяком случае, свои истории Манро рассказывает более

словоохотливо, фокусируясь на внутреннем мире…

ELLE

Памяти моей матери

Друг моей юности

С благодарностью Р. Дж. Т.

Когда-то мне часто снилась мать. Детали сна менялись, но удивлялась я каждый раз по-прежнему. Потом эти сны прекратились – наверно, потому, что заключенная в них надежда была слишком прозрачна, а прощение доставалось слишком легко.

В этих снах мне было столько же лет, сколько и наяву, и жизнь моя текла так же, как на самом деле, но я вдруг обнаруживала, что моя мать все еще жива. (На самом деле она умерла, когда мне было чуть за двадцать, а ей – чуть за пятьдесят.) Иногда я оказывалась в нашей старой кухне, и мать раскатывала тесто или мыла посуду в побитом бежевом тазу с красной каемкой. Иногда я сталкивалась с матерью вне дома, в таких местах, где совершенно не ожидала ее увидеть. Например, в вестибюле элегантного отеля или в очереди в аэропорту. Мать выглядела хорошо – не то чтобы моложава, не то чтобы не тронута парализующей болезнью, мучившей ее лет десять перед смертью, но все же неизмеримо лучше, чем мне помнилось, и это поражало до глубины души. О, у меня чуточку дрожит рука, говорила она, и лицо с одной стороны немеет, так, слегка. Неудобно, но я приноровилась.

И во сне я вновь обретала утраченное наяву – живую мимику, живой голос матери до того, как мышцы ее горла одеревенели, а черты лица свело в скорбную, безличную маску. Как я могла забыть, – думала я во сне, – ее манеру небрежно шутить, не иронично, а весело; ее легкость, нетерпеливость,

уверенность в себе? Я сожалела, что так долго ее не навещала, – не прощения у нее просила, а жалела, что держала в памяти какое-то пугало вместо живой женщины. И самым странным во всем сне, самой большой милостью ко мне был ее ответ, вроде бы ничем не примечательный.

Что ж, говорила она, лучше поздно, чем никогда. Я была уверена, что рано или поздно тебя увижу.

Когда мать была молода – мягкое, озорное лицо, пухленькие ножки в блестящих непрозрачных шелковых чулках (осталась ее фотография с учениками), – она поехала преподавать в сельскую школу, расположенную в долине реки Оттавы. Школу Гривз, как ее называли, поскольку здание, в котором была ровно одна классная комната, стояло на углу надела, принадлежавшего фермерской семье по фамилии Гривз. Для Канады эта ферма была, пожалуй, из лучших: хорошо осушенная земля, из которой не торчали докембрийские валуны; речка, окаймленная ивами; роща кленов, из которых добывали сахар; амбары из цельных бревен и большой, суровый с виду дом, чьи деревянные стены не знали краски, но были открыты непогоде. В долине Оттавы заветренное дерево не сереет, а чернеет, рассказывала мать. Понятия не имею почему, – должно быть, что-то в воздухе. Она часто говорила о долине Оттавы, своей родине – она и сама там выросла, милях в двадцати от школы Гривз, – так, словно излагала незыблемые законы, подчеркивая то, что отличает долину от всех других мест на земле, и удивляясь этим отличиям. Дома? там чернеют от времени, сироп из тамошних кленов такой вкусный, что никакой другой с ним не сравнится, и медведи ходят едва ли не под окнами ферм. Разумеется, я, попав наконец в те места, была разочарована. Это даже и не долина, собственно говоря, если под долиной подразумевать ложбинку между холмами; это мешанина плоских полей, низких скальных выступов, густых кустов и мелких озер – беспорядочная, кое-как набросанная местность, в которой нелегко найти гармонию. Ее даже описывать трудно.

Бревенчатые амбары и некрашеные дома часто попадались на бедных фермах, но для семьи Гривз это было дело не бедности, а принципа. Деньги у них водились, но не тратились. Моей матери это рассказали соседи. Гривзы тяжело работали. Они были не то чтобы необразованные, но отстали от века. У них не было ни машины, ни электричества, ни телефона, ни трактора. Кое-кто объяснял это их религиозной принадлежностью – Гривзы были камеронианцы, единственные представители этой конфессии в школьном округе, – но на самом

деле их секта, которую они сами именовали реформированной пресвитерианской церковью, не запрещала ни моторов, ни электричества, ни каких-либо других подобных изобретений, лишь карточные игры, танцы, кино, а по воскресеньям вообще любые занятия, кроме религиозных и тех, без которых никак нельзя обойтись.

Моя мать не знала, кто такие камеронианцы и почему они так называются. Какая-то чудна?я религия из Шотландии, говорила она чуть свысока – с высоты своего непринужденного, послушного англиканства. Школьные учителя всегда жили у Гривзов, и мать немного пугало, что ей предстоит поселиться в этом доме, обшитом черными досками, где ее ждут нескончаемо тоскливые воскресенья, керосиновые лампы и примитивные суеверия хозяев. Но к тому времени мать была уже обручена и хотела заработать себе на приданое, а не скакать по стране и развлекаться. Она прикинула, что сможет ездить домой каждое третье воскресенье. (В доме Гривзов по воскресеньям можно было разводить огонь для тепла, но не для того, чтобы на нем готовить; запрещалось даже чайник кипятить. Нельзя было даже писать письмо или прихлопнуть муху. Но оказалось, что на мою мать эти правила не распространяются. «Нет-нет, – смеясь, сказала ей Флора Гривз. – Это не для вас. Вы можете жить как привыкли». И скоро мать так подружилась с Флорой, что даже не ездила домой по воскресеньям, как намеревалась раньше.)

Сестры Флора и Элли Гривз были последние, кто остался от всей семьи. Элли была замужем за человеком по имени Роберт Дил; он жил и работал там же, на ферме, но все по-прежнему называли ее фермой Гривз. По тому, как местные жители говорили о сестрах Гривз и Роберте, моя мать решила, что это люди средних лет, но оказалось, что Элли, младшей, всего лет тридцать, а Флора на семь-восемь лет старше. Роберт Дил по годам был где-то между ними.

Дом был разделен очень неожиданным образом. Супруги жили не вместе с Флорой. Когда они поженились, Флора отдала им гостиную и столовую, передние спальни, лестницу и зимнюю кухню. Ванную комнату делить не пришлось, поскольку ее в доме не было. Флоре досталась летняя кухня с открытыми балками и голыми кирпичными стенами, старая буфетная, переделанная в узкую столовую и гостиную, и две задние спальни, одну из которых заняла моя мать. Учительниц всегда селили с Флорой, в бедной части дома. Но мою мать это не огорчало. Она тут же поняла, что предпочитает Флору и ее неизменную бодрость тишине передних комнат, царства болезни. На территории Флоры даже позволялись кое-какие развлечения. У нее была доска

для крокинола, она и мою мать научила играть.

Дом делили, конечно, в расчете на то, что у Роберта и Элли будут дети и им понадобится место. Но вышло не так. Роберт и Элли были женаты уже больше десяти лет, но так и не обзавелись потомством. Время от времени Элли беременела, но двое детей родились мертвыми, а остальные беременности кончились выкидышами. Когда мать только приехала, ей показалось, что Элли вроде бы все больше и больше времени проводит в постели. Мать подумала, что, может быть, Элли опять беременна, но об этом никто не упоминал. У этих людей было не принято о таком говорить. По виду Элли – когда она поднималась с постели и ходила по дому – нельзя было ничего понять, так как ее фигура была уже донельзя испорчена: живот растянут, а грудь плоская. Пахло от нее как от лежачего больного, и она все время по-детски капризничала из-за чего попало. Флора ухаживала за сестрой и делала всю работу по дому. Она стирала, прибирала, готовила и себе, и сестре с мужем, а также помогала ему доить коров и сепарировать молоко. Она вставала до рассвета и трудилась без устали. В первую весну после приезда моей матери Флора затеяла грандиозную уборку дома. Она сама лазила по приставной лестнице, снимала штормовые ставни, мыла их и аккуратно составляла в сторонке; выволакивала мебель из одной комнаты за другой, чтобы отскоблить дерево и покрыть пол лаком. Она вымыла каждую тарелку, каждый стакан из тех, что стояли в посудной «горке» и вроде бы и так были чистые. Она ошпарила кипятком все кастрюли и ложки. Ее обуяла такая энергия, такая жажда действия, что она даже спать толком не могла – мать просыпалась от лязга разбираемой дымовой трубы или от шарканья метлы, завернутой в посудное полотенце и сметающей закопченную паутину. Через вымытые окна, не прикрытые занавесками, лился беспощадный свет. Эта чистота выбивала из колеи. Мать теперь спала на отбеленных хлоркой и накрахмаленных простынях, от которых у нее пошла сыпь. Больная Элли все время жаловалась на запахи лака и чистящих средств. У Флоры руки были стерты до мяса. Но бодрость ее не убывала. В платке, фартуке и мешковатом комбинезоне Роберта, который Флора заимствовала, чтобы лазить по лестницам, она была похожа на клоуна – игривая и непредсказуемая.

Моя мать назвала ее крутящимся дервишем.

– Флора, ты прямо крутящийся дервиш, – сказала она, и Флора притормозила. Она захотела узнать, что это такое. Мать не смутилась и объяснила, хоть и боялась оскорбить набожную Флору. (Впрочем, набожную – не совсем точное слово. Неукоснительно исполняющую заветы, так будет точнее.) Но Флора,

конечно, не оскорбилась. Флора строго соблюдала все правила, но в ней не было ни мстительности, ни самодовольной зоркости, всюду видящей обиды. Она не боялась язычников – она всю жизнь жила среди них. Ей понравилась мысль, что она дервиш, и она пошла рассказать сестре.

– Знаешь, как учительница меня сейчас назвала?

Флора и Элли были обе темноволосые, темноглазые, высокие, узкоплечие, длинноногие. Элли, конечно, превратилась в развалину, а вот Флора сохранила идеально прямую спину и грацию движений. Мать рассказывала, что Флора умела держаться по-королевски – даже когда ехала в город на телеге. В церковь ездили на двуколке или на санях, но Флоре и Роберту часто приходилось возить в город мешки с шерстью – на ферме держали овец – или с овощами, на продажу, а потом доставлять домой закупленную провизию. До города было несколько миль, и ездили туда нечасто. Роберт сидел впереди и правил – Флора тоже прекрасно умела править лошадью, но это дело полагалось выполнять мужчине. Флора стояла позади в телеге, держась за мешки. Она ехала стоя всю дорогу до города и обратную дорогу домой, легко сохраняя равновесие. На голове у нее была черная шляпа. Флора выглядела почти нелепо, но смешной не была. Матери думалось, что Флора похожа на цыганскую королеву: темноволосая, смугловатая – словно чуточку загорелая, – гибкая, смелая и безмятежная духом. Конечно, ей недоставало браслетов и ярких одежд. Моя мать завидовала стройности Флоры и ее высоким скулам.

Вернувшись осенью, к началу второго школьного года, мать узнала, что? не так с Элли.

«У моей сестры опухоль», – сказала Флора. Слово «рак» тогда не произносили.

Мать слышала это и раньше. В округе ходили подозрения. Она перезнакомилась уже со многими окрестными жителями. Особенно она подружилась с молодой женщиной, работающей на почте, – потом эта женщина станет одной из подружек невесты у нее на свадьбе. Историю Флоры, Роберта и Элли – или ту ее часть, что была известна всем, – пересказывали в разных версиях. Мать не считала, что слушает сплетни, – она была начеку, готовая немедленно прекратить любые враждебные слова в адрес Флоры; такого она не потерпела бы. Но никто не злословил о Флоре. Все говорили, что она вела себя как святая.

Даже в крайностях, например, когда разделила дом, – это был поступок святой.

Роберт начал работать у Гривзов за несколько месяцев до смерти отца Элли и Флоры. Девушки уже были с ним немного знакомы – по церкви. (О, эта церковь, восклицала мать; она побывала там единожды, из любопытства. Мрачное здание за много миль от дома, на другом конце городка; ни орга?на, ни пианино, в окнах простые стекла – никаких витражей; дряхлый священник и его многочасовая проповедь; регент, камертоном задающий тон для хорового пения.) Роберт приехал из Шотландии и пробирался на запад Канады. В округе он остановился у каких-то родственников или знакомых, членов все той же малочисленной конгрегации. Нанялся к Гривзам – вероятно, для того, чтобы подработать. Вскоре он и Флора обручились. Они не могли посещать танцы и карточные вечера, но ходили на долгие прогулки. Дуэньей – неофициальной – при них служила Элли. Она тогда была шальной, задорной девчонкой – длинноволосой, нахальной, еще полной детства и сил, бьющих через край: она не ходила, а скакала. Она взбегала по склонам, сшибала палкой свечки коровяка, вопила и гарцевала, изображая конного воина. Или просто коня. Ей тогда было лет пятнадцать-шестнадцать. Никому, кроме Флоры, она не подчинялась, да и Флора обычно только смеялась ее выходкам; она слишком привыкла к сестре и потому не задумывалась, все ли у той в порядке с головой. Они удивительно сильно любили друг друга. Элли – с длинным худым телом, длинным бледным лицом – была копией Флоры. Такие копии часто видишь в семьях, и из-за какого-то случайного изъяна, или сильно бросающейся в глаза черты, или цвета волос красота одного человека становится заурядностью или даже некрасивостью у другого. Но Элли не завидовала красоте сестры. Она обожала расчесывать и закалывать волосы Флоры. Они с удовольствием мыли друг другу головы. Элли вжималась лицом в шею сестры, как жеребенок-стригунок, играющий с матерью. Поэтому, когда Роберт сделал предложение Флоре (или она ему – никто не знал, как именно обстояло дело), Элли прилагалась к ней в обязательном порядке. Она не выказывала враждебности к Роберту, но таскалась за влюбленными и подстерегала их на прогулках; выскакивала на них из-за кустов или бесшумно подкрадывалась сзади, чтобы подуть им на шеи; люди все видели. И слышали о ее шутках. Она вечно подстраивала дурацкие шутки, и порой ей влетало за это от отца, но Флора всегда ее защищала. Элли то подсовывала Роберту в постель чертополох; то, накрывая на стол, клала ему вилку и нож наоборот; то подменяла доильные ведра, чтобы Роберту досталось дырявое. Он все это терпел – возможно, ради Флоры.

По приказу отца Флора и Роберт назначили дату бракосочетания через год. Когда отец умер, они не стали переносить свадьбу на более ранний срок. Роберт по-прежнему жил у Флоры и Элли. Никто не знал, как заговорить с Флорой о том, что это неприлично или выглядит неприлично. Она бы только спросила почему. Вместо того чтобы приблизить день свадьбы, Флора отодвинула его – со следующей весны на раннюю осень, чтобы со дня смерти отца успел пройти полный год. Год от похорон до свадьбы – такой срок она сочла пристойным. Она полностью верила в терпение Роберта и собственную чистоту.

Она, конечно, вольна была верить во что угодно. Но зимой поднялся переполох. Элли тошнило, она рыдала, убегала, пряталась на сеновале, выла, когда ее находили и вытаскивали, спрыгивала с самого верха на пол, носилась кругами, каталась в снегу. Она потеряла рассудок. Флора была вынуждена позвать врача. Она сказала ему, что у сестры прекратились месячные, – возможно, она сходит с ума от застоя крови? Роберту пришлось поймать Элли и связать ее, и вдвоем с Флорой они уложили Элли в кровать. Она отказывалась есть, лишь изо всех сил мотала головой и ревела. Похоже было, что она так и умрет бессловесной. Но каким-то образом истина вышла наружу. Не от доктора – он не смог подобраться к больной для осмотра, так она брыкалась. Наверное, Роберт сознался. И до Флоры наконец, сквозь весь ее возвышенный образ мыслей, дошла истина. Теперь свадьба была неминуема – правда, не та, которую планировали вначале.

Ни торта, ни новых нарядов, ни поездки на медовый месяц, ни поздравлений. Лишь стыдливый, наспех, визит в дом священника. Кое-кто из соседей, увидев имена в газете, решил, что редактор спутал сестер. Они подумали, что речь идет о Флоре. Свадьба «вдогонку» – для Флоры! Но нет. Это Флора погладила костюм Роберту, потому что кто-то его должен был погладить, и вытащила Элли из кровати, и вымыла, и привела в пристойный вид. Это Флора, больше некому, сорвала цветок герани из подоконного ящика и пришпилила к платью сестры. И Элли не стала его сдирать. Теперь она была кротка, не билась и не плакала. Она позволила себя одеть и выдать замуж и с того дня больше не буйствовала.

Флора поделила дом. Она своими руками помогала Роберту возводить нужные перегородки. Ребенок родился в срок – никто и не думал притворяться, что он недоношенный, – но мертвым, после долгих, раздирающих схваток. Возможно, Элли навредила плоду, когда прыгала с балки в амбаре, каталась в снегу и колотила себя. Но даже если бы она ничего такого не делала, люди ожидали бы каких-нибудь последствий – с этим ребенком или, возможно, со следующим. Господь наказывает за браки «вдогонку» – в это верили не только

пресвитерианцы, но вообще почти все. Господь карает за похоть – посылает мертворожденных, идиотов, детей с заячьей губой, сухоруких, колченогих.

В этом случае кара оказалась длительной. У Элли случились два выкидыша, потом еще один мертворожденный ребенок и опять выкидыши. Она постоянно ходила беременная – многодневные приступы рвоты, головные боли, судороги, головокружение. Выкидыши были так же мучительны, как роды в срок. Элли не могла работать по дому и ферме. Она и ходила-то держась за стулья. Немота у нее прошла, теперь она стала жалобщицей. Если приходили гости, она принималась рассказывать об особенностях своих головных болей, или о своем последнем обмороке, или даже – не стесняясь присутствия мужчин, незамужних девушек и детей – расписывать кровавые детали того, что она именовала «неудачами». Когда гости меняли тему или срочно уволакивали детей, она дулась. Она требовала новых лекарств, поносила доктора и пилила Флору. Она обвиняла Флору в том, что та нарочно, назло громыхает тарелками, когда моет посуду, что дергает ее – Элли – за волосы, когда их расчесывает, что из скупости подменяет настоящее лекарство патокой, разведенной в воде. Но что бы она ни говорила, Флора ее утешала. Любому, кто побывал в доме Гривзов, было что об этом порассказать. Флора приговаривала: «Где же моя девочка? Где моя Элли? Это не моя Элли, это какая-то злюка сюда забралась на ее место!»

Зимними вечерами Флора помогала Роберту с работой на ферме, а потом возвращалась в дом, мылась, переодевалась и шла на другую половину читать сестре перед сном. Моя мать иногда напрашивалась с ней, захватив шитье – повседневное или что-нибудь из приданого. Кровать Элли была в большой столовой, где на столе стояла керосиновая лампа. Мать сидела с одного края стола и шила, а Флора сидела с другого края и читала вслух. Иногда Элли говорила: «Мне не слышно». А если Флора приостанавливалась отдохнуть, Элли говорила: «Я еще не сплю».

Что же читала Флора? Книги о жизни в Шотландии – не классику, а истории про шалопаев и комичных старушек. Единственное заглавие, оставшееся в памяти у матери, было «Масенький Макгрегор». Мать не очень хорошо понимала со слуха и не могла смеяться, когда Флора смеялась, а Элли тихо подвизгивала, – бо?льшая часть этих книг была на шотландском диалекте, или же Флора читала с густым шотландским акцентом. Мать удивлялась, что Флора умеет так читать – говорила она обычно совсем по-другому.

(Но ведь, наверно, Роберт говорил именно так? Может быть, именно поэтому мать никогда не передавала мне его слов; он никогда не участвовал в описываемых ею сценах. Он ведь должен был присутствовать, сидеть там же, в комнате. Она одна во всем доме отапливалась. Я представляю себе Роберта черноволосым, с мощными плечами, сильным, как тяжеловоз, исполненным такой же красоты – меланхоличной, скованной в движениях.)

Потом Флора говорила: «На сегодня всё». И брала другую книгу, старую, написанную каким-то проповедником, их единоверцем. В книге было такое – моя мать ничего подобного в жизни не слыхала. Что именно? Она не могла объяснить. Всё это, вся их ужасная старая вера. От этой книги Элли засыпала, или же притворялась спящей, после пары страниц.

Вероятно, мать имела в виду сложную расстановку избранных и про?клятых, бесконечные споры о духовной прелести и о необходимости свободы воли. Обреченность и зыбкое, неуловимое спасение души. Мучительное, непобедимое, но для иных умов – неотразимое нагромождение переплетенных, противоречащих друг другу догм. Мою мать оно не привлекло. Ее вера была легкой, ее дух – в то время – сильным. Идеи ее никогда не интересовали.

Ну что это за чтение для умирающей, спрашивала она (про себя). То был единственный случай, когда она допускала хоть намек на критику в адрес Флоры.

Ответ – если по-настоящему веришь, то это и есть самое подходящее чтение – матери, видимо, в голову не пришел.

Весной приехала сиделка. Так тогда было заведено – умирать полагалось дома, а распоряжалась этим приглашенная сиделка.

Сиделку звали Одри Аткинсон. Она была коренаста и носила корсеты – жесткие, как обручи от бочки. Волосы цвета медных подсвечников были завиты «марсельской волной», а рот – скупых от природы очертаний – ущедрен помадой. Сиделка въехала во двор на машине – своей собственной, темно-зеленой, двухместной, блестящей и элегантной. Вести об Одри Аткинсон и ее автомобиле разлетелись быстро. Возникли вопросы. Откуда у нее деньги? Может, какой-нибудь богатый дурак переписал на нее завещание? Может, она

злоупотребила своим влиянием на больного? Или просто стянула пачку денег из-под матраса? Как ей можно доверять?

Впервые в истории фермы Гривз во дворе оставили на ночь автомобиль.

Одри Аткинсон говорила, что ее никогда еще не звали ухаживать за умирающими в такой примитивный дом. По ее словам, у нее не укладывалось в голове, что так вообще можно жить.

«И ладно бы они были бедные, – говорила она моей матери. – Они ведь не бедные. Это я бы еще поняла. И ведь дело даже не в их религии. Тогда в чем? Им просто все равно!»

Поначалу она подлизывалась к моей матери, будто само собой разумелось, что они союзницы в этом богом забытом месте. Она разговаривала с матерью так, словно они ровесницы, две утонченные, интеллигентные женщины, идущие в ногу с жизнью и умеющие получать от нее удовольствие. Сиделка обещала матери научить ее водить машину. Предлагала ей сигареты. Умение водить было бо?льшим искушением, чем сигареты. Но мать отвергла предложенное – сказала, что подождет, пока муж ее научит. Одри Аткинсон переглядывалась с моей матерью за спиной Флоры, поднимая розовато-оранжевые брови, и мать приходила в ярость. Она ненавидела сиделку гораздо сильней, чем Флора.

«Я понимала, что она за человек, а Флора – нет», – рассказывала мать. Она имела в виду, что уловила исходящий от Одри запашок дешевки – может быть, даже питейных заведений, непорядочных мужчин, неблаговидных сделок. А Флора, будучи не от мира сего, ничего этого не замечала.

Флора снова затеяла великую уборку. Она вешала занавески на распялках, выколачивала ковры, взлетала на стремянку, атакуя пыль на карнизах. Но сиделка Аткинсон все время мешала ей жалобами.

«Скажите, пожалуйста, нельзя ли хотя бы чуточку поменьше бегать и греметь? – оскорбительно вежливо говорила сиделка. – Я прошу только ради своей пациентки». Она всегда называла Элли «моя пациентка» и делала вид, что больше некому защитить Элли и потребовать уважительного к ней отношения. Но сама относилась к ней не очень-то уважительно. «Алле-оп», – говорила она, втаскивая бедняжку повыше на подушках. Еще она сообщила Элли, что не будет

терпеть нытье и скулеж. «Это вам никакой пользы не приносит, – говорила она. – И я от этого точно быстрее не приду. Так что учитесь себя контролировать». Она ахала при виде пролежней Элли – демонстративно, словно они ложились на семью дополнительным позорным пятном. Она требовала мазей, лосьонов, дорогого мыла – в основном, разумеется, для защиты собственной кожи, которая, по ее утверждению, страдала от жесткой воды. (Откуда этой воде быть жесткой, сказала сиделке моя мать, желая постоять за честь дома, раз больше некому. Откуда этой воде быть жесткой, если она дождевая, прямиком из бочки?)

Еще сиделка Аткинсон требовала сливок – она велела оставлять немного, не все сдавать на молокозавод. Она собиралась готовить питательные супы и пудинги для своей пациентки. Она и впрямь готовила пудинги и желе, из порошковых смесей, каких в доме сроду не бывало. Мать была уверена, что сиделка всё это съедает сама.

Флора по-прежнему читала сестре, но теперь – лишь короткие отрывки из Библии. Когда она заканчивала и вставала, Элли пыталась за нее цепляться. Она рыдала и иногда очень странно жаловалась. Она говорила, что на дворе стоит рогатая корова и хочет пробраться в дом и забодать ее, Элли.

«У них часто бывают подобные мысли, – заметила на это сиделка Аткинсон. – Не потакайте ей, а то вам ни днем ни ночью покоя не будет. Они все такие, только о себе и думают. Когда я с ней одна, она себя очень хорошо ведет. Никаких забот от нее. Но как только вы заходите, опять все начинается сначала – стоит ей вас увидеть, и она расстраивается. Вы ведь не хотите прибавлять мне работы, правда? Вы меня пригласили, чтобы я взяла дело в свои руки, верно ведь?»

«Элли, ну Элли, миленькая, мне нужно идти», – успокаивала Флора сестру. А сиделке она сказала: «Я понимаю. Конечно, вам надо держать все в своих руках, и я вами восхищаюсь, я восхищаюсь вашей работой. Для нее нужно столько терпения и доброты».

Мать гадала – то ли Флора действительно так слепа, то ли она этой незаслуженной похвалой хочет сподвигнуть сиделку Аткинсон на то самое терпение и доброту, которых у той не было. Но сиделка Аткинсон была слишком толстокожа и самодовольна, с ней подобные фокусы не проходили. «Да уж, работа у нас нелегкая, – ответила она. – Нам не то что медсестрам в больнице, им-то все готовенькое приносят». Больше она ничего не сказала – ей было

некогда: она пыталась поймать в радиоприемнике передачу «Фантазийный бальный зал».

Мать была занята выпускными экзаменами и июньскими мероприятиями в школе. Еще она готовилась к своей свадьбе, назначенной на июль. За ней заезжали на машинах подруги и везли на примерку платья, на вечеринки, выбирать карточки для приглашений, заказывать свадебный торт. Расцвела сирень, вечера удлинялись, прилетели и загнездились птицы, и мать расцветала в лучах всеобщего внимания, готовая вот-вот пуститься в увлекательное приключение – брак. Ее платье должны были украсить аппликацией из шелковых роз. Фата будет крепиться на шапочку, расшитую жемчужным песком. Мать принадлежала к первому поколению молодых женщин, которые сами заработали и скопили деньги себе на свадьбу, гораздо более пышную, чем всё, что могло позволить себе поколение их родителей.

В последний вечер перед свадьбой за матерью заехала подруга (та самая, с почты), чтобы увезти ее совсем – вместе с вещами, книгами, наготовленным приданым, подарками от учеников и других людей. Девушки смеялись и суетились, грузя вещи в машину. Флора вышла и помогла им. «Похоже, это самое замужество – морока еще больше, чем я думала», – улыбаясь, сказала она. И подарила моей матери нарядный шарф, который сама втайне связала крючком. Разумеется, не обошлось без сиделки Аткинсон – она вручила невесте флакон одеколона с распылителем. Флора стояла на склоне у дома и махала вслед. Ее пригласили на свадьбу, но она, конечно, сказала, что не может прийти – сейчас такое время, что ей нельзя «выходить на люди». Последний образ Флоры, сохранившийся в памяти матери, – энергично машущая одинокая фигура, одетая для генеральной уборки, в фартук и бандану, на зеленом склоне у черной стены дома, в вечернем свете.

«Ну что ж, может, она хоть теперь получит то, что ей в первый раз не досталось, – сказала подруга с почты. – Может, теперь они смогут пожениться. Она вроде бы еще не слишком стара, чтобы родить. Сколько ей вообще лет?»

Мать подумала, что такие речи применительно к Флоре звучат очень вульгарно, а вслух ответила, что не знает. Но поневоле призналась себе, что сама думает о том же.

После свадьбы, уже войдя хозяйкой в собственный дом, в трехстах милях от жилища Гривзов, мать получила письмо от Флоры. Элли умерла. Она до конца жизни хранила твердость в вере и благодарила Господа за избавление, писала Флора. Сиделка Аткинсон хочет остаться еще ненадолго, до тех пор пока ей не надо будет к следующему пациенту. Было это в конце лета.

Новости о том, что случилось после, пришли не от Флоры. Когда Флора наконец написала – на Рождество, – она, похоже, не сомневалась, что моей матери уже все рассказали.

«Вы наверняка слыхали, – писала Флора, – что Роберт и сиделка Аткинсон поженились. Они живут здесь, на Робертовой половине дома. Они сейчас ее обустраивают, чтобы им было удобнее. Однако с моей стороны весьма невежливо было назвать ее сиделкой Аткинсон, как я сделала выше. Мне следует называть ее Одри».

Конечно, матери написала подруга с почты, и не она одна. Всю округу потрясла и возмутила новая свадьба Роберта – во второй раз он женился так же тайком, как и в первый (хотя на этот раз, конечно, по совершенно другой причине). Сиделка Аткинсон стала местной жительницей, а Флора проиграла вторично. Никто не видел, чтобы Роберт ухаживал за сиделкой. Все спрашивали, как ей удалось его заманить. Может, она убавила себе лет и обещала родить ему детей?

Но свадьбой сюрпризы не ограничились. Новобрачная немедленно занялась тем самым обустройством, упомянутым Флорой. В доме появилось электричество, потом – телефон. Номер был спаренный, и другие жители округи слышали, как сиделка Аткинсон (по-другому ее так и не стали называть) распекает маляров, клейщиков обоев и службу доставки. Она делала полный ремонт. Она покупала электрическую печку и оборудовала туалет прямо в доме. Кто знает, откуда взялись на это деньги. Может, ее собственные – плоды интрижек у смертного одра и необъяснимых внезапных завещаний. А может, Роберта, – может, он потребовал свою долю. Долю Элли, которую он и сиделка Аткинсон, бесстыжая парочка, теперь намерены прожигать?

Все улучшения касались только половины дома. Другая половина, Флоры, не изменилась. Ни электричества, ни свежих обоев, ни новых жалюзи. Когда дом покрасили снаружи – в кремовый цвет с темно-зеленой отделкой, – Флорина половина осталась голой. Эту странную демонстративную выходку жители

округи встретили с жалостью и неодобрением, потом – по мере того как их сочувствие убывало – стали считать доказательством упрямства и эксцентричности Флоры (неужели трудно купить банку краски и привести дом в божеский вид) и, наконец, увидели в нем повод для смеха. Люди специально ездили издалека, чтобы посмотреть на этот дом.

Каждый раз, когда в округе играли свадьбу, в школе устраивались танцы. На них собирали деньги, чтобы вручить новобрачным, – это называлось «кошель». Сиделка Аткинсон довела до сведения соседей, что не против этого обычая, пускай семья, в которую она вошла, и не признаёт танцев. Кое-кто решил, что идти у нее на поводу – низко, все равно что плюнуть в лицо Флоре. Других снедало любопытство, и они не могли пропустить такое событие. Им хотелось посмотреть, что станут делать новобрачные. Будет ли Роберт танцевать? В каком платье придет молодая? Жители округи слегка потянули дело, но в конце концов танцевальный вечер состоялся, и моей матери доложили во всех подробностях.

Новобрачная пришла в том платье, в котором венчалась, – во всяком случае, она так сказала. Но кто наденет такое платье ради венчания в доме священника? Наверняка оно было куплено специально для этого вечера. Снежно-белый атлас, вырез сердечком, нелепо молодежный фасон. Жених вырядился в новый темно-синий костюм, и она вставила ему цветок в петлицу. На них стоило посмотреть. Прическа новобрачной – прямо от парикмахера – слепила глаз оттенками начищенной меди. Молодая была так накрашена, что казалось – стоит ей в танце прижаться к плечу партнера лицом, и оно целиком останется у него на пиджаке. Конечно, она танцевала. Она прошлась по разу с каждым из присутствующих, кроме мужа – он сидел, втиснувшись в одну из парт, отодвинутых к стене. Она прошлась по разу с каждым – и каждый утверждал, что обязан потанцевать с новобрачной, якобы таков обычай, – а затем вытащила Роберта на всеобщее обозрение, чтобы он получил деньги и поблагодарил всех собравшихся. Дамам же она намекнула в дамской комнате, что чувствует себя нехорошо – по обычной причине, как положено после свадьбы. Никто ей не поверил, и в самом деле ее надежды (если она действительно питала какие-то надежды) не оправдались. Кто-то из женщин подумал, что она лжет – намеренно, по злобе, чтобы оскорбить, считая их доверчивыми дурочками. Но никто не обличил ее, никто не был с ней груб – может, потому, что было ясно: она прекрасно может нагрубить в ответ и дать такой отпор, что противнику не поздоровится.

Флора на танцы не пришла.

«Моя золовка не танцует, – сказала сиделка Аткинсон. – Она застряла в прошлом». Она приглашала всех посмеяться над Флорой, которую всегда называла своей золовкой, хоть и не имела на то права.

Узнав все это, мать написала Флоре. Но, видимо, уехав из тех мест и закружившись в вихре, центром которого была она сама, новобрачная, мать забыла, что за человек адресат ее письма. Она выражала сочувствие и гнев, она позволила себе резкие слова в адрес женщины, которая – как это виделось матери – нанесла Флоре тяжелый удар. Но в ответном письме от Флоры говорилось: не очень понятно, где моя мать черпает сведения, но, по-видимому, от злонамеренных людей, или она неверно поняла услышанное, или же поспешила и сделала необоснованные выводы. События в семье Флоры никого не касаются, и ни в коем случае не следует ее жалеть или испытывать гнев за нее. Флора была и есть счастлива и удовлетворена своей жизнью, ее не затрагивают поступки и желания других людей, и она не считает нужным в них вмешиваться. Она желала моей матери всяческого счастья в браке и выражала надежду, что мать скоро займется своими собственными семейными обязанностями и перестанет беспокоиться о бывших знакомых.

Это прекрасно написанное письмо задело мою мать, как она выразилась, за живое. Сообщение между ней и Флорой прекратилось. Мать и впрямь погрузилась в обыденные заботы и в конце концов стала пленницей в собственной семье.

Но она не забывала Флору. В последние годы она завела привычку рассуждать о том, кем могла бы стать и что сделать, сложись ее жизнь по-иному, и говорила: «Будь я писательницей – а я думаю, что могла бы ею стать; да, я могла бы стать писательницей, – я бы написала историю жизни Флоры. И знаешь, как я ее озаглавила бы? „Старая дева“».

«Старая дева». Мать произнесла эти слова с серьезностью и сентиментальностью, которые резанули мне слух. Я знала (или думала, что знаю), что она хочет выразить этим заглавием. Величие и тайна. Легкая насмешка, переходящая в уважение. Мне было тогда лет пятнадцать-шестнадцать, и я думала, что вижу мысли матери насквозь. Я видела, что она могла бы сделать – что уже сделала – с Флорой. В интерпретации матери Флора стала бы ходячим благородством, символической фигурой, которая принимает предательство, измену, все прощает и отходит в сторону – и не единожды, а дважды. Без единого слова жалобы. Флора бодро трудится, убирает дом,

выгребает навоз из хлева, выносит кровавые ошметки из постели сестры. И как раз тогда, когда будущее, кажется, открылось перед ней, когда Элли собиралась вот-вот умереть, Роберт – попросить прощения, а Флора – замкнуть ему уста, принеся себя в гордый дар, – во двор непременно должна была въехать Одри Аткинсон и снова заградить Флоре жизненный путь, на сей раз еще более необъяснимо и бесповоротно. Флора вынуждена терпеть покраску и электрификацию дома, всю эту зажиточную суету за стеной. Модная музыка по радио – «Фантазийный бальный зал», «Эймос и Энди». Конец шотландской шутливой прозе и древним проповедям. Флора, конечно, видела, как они уезжают на танцевальный вечер – ее бывший суженый и жестокая, глупая, ни капельки не красивая женщина в белом атласном свадебном платье. Они смеются над Флорой. (И конечно же, она отписала ферму Элли и Роберту, так что теперь все досталось Одри Аткинсон.) Неправда торжествует. Но это ничего. Ничего. Избранные облачены в ризы терпения и смирения, и их осиявает уверенность, что никакие внешние смуты не поколеблют их душевный мир.

Именно в таком свете мать преподнесла бы все это, думала я. Она шла собственным крестным путем и на этом пути приобрела склонность к мистицизму. Иногда она таинственно, торжественно понижала голос, и это задевало меня, казалось сигналом, что опасность грозит лично мне. Непроницаемый туман благочестивых банальностей, питаемый неоспоримой моральной властью матери-калеки, грозил наползти и задушить меня. Если это случится, мне конец. Мне приходилось сохранять остроту языка и цинизм. Я спорила, я осаживала мать, когда она чересчур раздувалась от собственной значительности. В конце концов я и эти попытки оставила и лишь молча противостояла ей.

Все эти красивые слова означают, что я была никаким утешением и так себе компаньонкой для женщины, которой, считай, не к кому больше было прибегнуть.

Я смотрела на историю Флоры по-своему. Я не говорила себе, что «могла бы написать» роман, но что я напишу его. И в совершенно другом ключе. Я видела насквозь замысел матери и вставила в свой рассказ то, что она выкинула из своего. Я нарисую свою Флору столь же черными красками, сколь мать свою – белоснежными. Она радуется, когда с ней обходятся плохо, и любуется собственным всепрощением. Она подглядывает за жалкими руинами, в которые превратилась жизнь ее сестры. Пресвитерианская ведьма со своей зловредной книгой. Дать ведьме отпор, процвести под ее сенью может лишь столь же

безжалостная, невинная рядом с ней в своей грубости, толстокожая сиделка. И ведьме дали отпор: похоть плоти и обычная жадность помогли одолеть ее, запереть на ее половине дома с керосиновой лампой. Флора съеживается, сдает, кости ее твердеют, суставы деревенеют; и – о, вот оно, вот оно, я дивлюсь элегантности найденной мной концовки, – она сама становится калекой, скрюченной артритом, едва способной пошевелиться. Вот теперь Одри Аткинсон берет всю власть и требует себе весь дом целиком. Она хочет, чтобы Роберт снес перегородки, воздвигнутые им при участии Флоры перед женитьбой на Элли. Одри отведет Флоре комнату и будет о ней заботиться. (Одри Аткинсон не хочет прослыть чудовищем, – может, она и вправду никакое не чудовище.) И однажды Роберт переносит Флору – первый и единственный раз в жизни он несет ее на руках – в комнату, приготовленную его женой, Одри. И вот, водворив Флору в хорошо освещенный, хорошо протопленный угол, Одри Аткинсон принимается чистить освободившиеся комнаты, жилье Флоры. Одри вытаскивает на двор охапку книг. Опять весна, время генеральной уборки, – когда-то этим занималась сама Флора, а теперь ее бледное лицо виднеется из-за новой тюлевой занавески. Она выползла из своего угла, она видит голубое небо с высокими облаками, плывущими над мокрой весенней землей, жадных ворон, разбухшие ручьи, розовеющие ветви деревьев. Она видит дым, идущий из мусоросжигателя во дворе, где горят ее книги. Вонючие старые книжки, как назвала их Одри. Слова, страницы, зловещие черные корешки. Избранные, про?клятые, зыбкая надежда на спасение, страшные муки – все летит дымом к небу. Этим мой сюжет кончался.

Но самой загадочной личностью во всей истории, как ее рассказывала моя мать, был Роберт. Он ни разу не сказал ни слова. Он обручается с Флорой. Он гуляет с ней вдоль реки, когда Элли выскакивает на них из кустов. Он находит у себя в кровати подсунутые ею колючки. Он стругает и сколачивает доски, чтобы разделить дом. Он слушает (или не слушает), как Флора читает. И наконец, он сидит, втиснувшись за парту, пока вульгарная женщина, недавно обвенчанная с ним, танцует с другими мужчинами.

Это – те его поступки, что ведомы людям. Но ведь втайне всю историю затеял именно он. Он «сделал это» с Элли. Он «делал это» с тощей дикой девчонкой, будучи обрученным с ее сестрой, а потом много лет «делал это» с женой, когда от нее осталось лишь истерзанное тело, не встающее с постели, не способное выносить ребенка.

Вероятно, он «делал это» и с Одри Аткинсон, но результаты были не столь катастрофичны.

Слова «делал это» – самое сильное выражение, на какое была способна моя мать (и Флора также, я полагаю), – меня лишь завораживали. Я не чувствовала положенного отвращения и негодования. Я отказывалась слышать в этих словах предупреждение. Даже судьба Элли не отпугивала меня. Особенно когда я думала об их первом соитии – отчаянной схватке, борьбе, разрываемой одежде. В те дни я украдкой жадно разглядывала мужчин. Я любовалась их запястьями, шеями, клочком волос на груди, видным из-под случайно расстегнувшейся рубашки, даже ушами, даже ногами в ботинках. Я не ждала от них никаких разумных поступков – лишь жаждала, чтобы их необузданная страсть поглотила меня. Роберта я видела примерно в том же свете.

В моей версии Флора была злодейкой именно из-за того, что делало ее святой в версии матери, – отказа от утех плоти. Я сопротивлялась любым наставлениям матери на этот счет: я презирала ее манеру многозначительно понижать голос, ее мрачные предостережения. В то время в тех местах, где росла мать, половая жизнь была для женщин путешествием, полным опасностей. Мать знала, что от этого можно умереть. И потому уважала добродетель, стыдливость, холодность – все, что могло защитить женщину. И я сызмальства боялась именно этой защиты, деликатной тирании, которая, как казалось мне, простиралась во все области жизни, навязывая женщинам чинные чаепития, белые перчатки и прочие безумные побрякушки. Мне нравились непристойные слова и отчаянные поступки, я распаляла себя мечтами о безрассудстве мужчины, о его полной власти надо мной. Странное дело: взгляды матери совпадали с популярными прогрессивными воззрениями ее эпохи; мои же соответствовали идеям, популярным в мое время. Все это – несмотря на то что обе мы считали себя независимыми от общества в своих взглядах, и притом жили в захолустье, далеком от веяний современной мысли. Можно подумать, что тенденции, глубже всего сидящие в нас, самые личные и неповторимые, прилетели по ветру, подобно спорам, ища подходящую почву, где можно пустить корни.

Совсем незадолго до смерти матери – но когда я еще не успела уехать из дома – она получила письмо от настоящей Флоры. Оно пришло из городка, ближайшего к ферме, – того самого, куда Флора когда-то ездила с Робертом, стоя в телеге за мешками шерсти или картофеля.

Флора написала, что больше не живет на ферме.

«Роберт и Одри по-прежнему живут там, – писала она. – У Роберта что-то со спиной, но за исключением этого он вполне здоров. У Одри плохие сосуды и частая одышка. Доктор говорит, что ей нужно худеть, но диеты как-то не помогают. Ферма процветает. Они совсем перестали разводить овец и переключились на молочных коров. Как Вы, вероятно, слышали, для фермера нынче главное – выбить у правительства квоту на молоко, и тогда его дело в шляпе. Старое стойло теперь отлично оборудовано, там доильные аппараты и прочие современные машины, просто чудо. Когда я приезжаю туда в гости, то сама не знаю, где очутилась».

Дальше Флора писала, что уже несколько лет живет в городе и работает продавщицей в магазине. Она, вероятно, упомянула название магазина, но я его забыла. Конечно, она не объяснила, что привело ее к этому решению – то ли ее согнали с собственной фермы, то ли она продала свою долю (видимо, не слишком выгодно). Она подчеркивала, что в хороших отношениях с Робертом и Одри. Она упомянула, что находится в добром здравии.

«Я слышала, что Вам в этом отношении повезло меньше, – писала она. – Я случайно встретилась с Клетой Барнс, бывшей Клетой Стэплтон, которая когда-то работала на почте, и она мне сказала, что у Вас какие-то проблемы с мышцами и речь тоже пострадала. Мне весьма печально было это услышать, но в наши дни врачи творят чудеса, и я надеюсь, что они и Вам смогут помочь».

Это письмо тревожило обилием недомолвок. В нем ничего не было про Господню волю и про то, что болезни посылаются нам свыше. Флора не написала, ходит ли все еще в ту же церковь. Кажется, мать так и не ответила на это послание. Ее прекрасный, разборчивый учительский почерк отошел в прошлое – теперь ей было трудно даже держать ручку. Она все время начинала письма и не заканчивала. Я находила их по всему дому. «Дражайшая моя Мэри», – начинались они. «Дорогая Руфь». «Милая моя малышка Джоанна (хоть я и знаю, что ты уже давно не малышка». «Моя дорогая старая подруга Клета». «Моя прекрасная Маргарет». Это все были подруги ее учительских лет, институтские, школьные. Ее бывшие ученицы. У меня друзья по всей стране, говорила она вызывающе. Милые, дорогие друзья.

Мне запомнилось одно письмо с обращением «Друг моей юности». Я не знаю, кому оно предназначалось. Все эти женщины были друзьями ее юности. Я не

помню письма, которое начиналось бы: «Моя дорогая, бесконечно уважаемая мною Флора». Я всегда смотрела на эти листки, стараясь прочитать обращение и те несколько фраз, которые мать смогла вывести, и, поскольку боль печали была бы для меня невыносима, эти письма меня раздражали – вычурным языком, неприкрытой мольбой о любви и жалости. Мать получала бы больше любви и жалости, думала я (имея в виду – больше любви и жалости от меня), если бы держалась отстраненно и с достоинством, а не тянулась к людям, стараясь бросить на них свою искривленную тень.

Флора тогда уже перестала меня интересовать. Я вечно выдумывала сюжеты и к этому времени, вероятно, вынашивала в голове новый.

Но позже я вспоминала о ней. Я гадала, в какой магазин она устроилась. Скобяная лавка или «Все за пять и десять центов», где ей пришлось носить рабочий комбинезон? Или аптека, где она стояла за прилавком в униформе, похожей на медсестринскую, или дамские платья, где она должна была выглядеть модно? Возможно, ей пришлось изучать разные модели блендеров, или бензопил, или фасоны комбинаций, или марки косметики, или даже виды презервативов. Она работала целый день в электрическом свете, жала на кнопки кассового аппарата. Может быть, она сделала себе перманент, стала красить ногти, губы? Она должна была снять жилье – квартирку с кухонькой, окнами на главную улицу, или комнату в пансионе. Как ей удалось сохранить свою камеронианскую веру? Чтобы добираться до церкви где-то на выселках, она должна была купить машину, научиться водить. А раз научившись, она могла ездить не только в церковь, но и в другие места. Например, в отпуск. Снять на неделю коттедж на озере. Научиться плавать. Побывать в другом городе. Она могла есть в ресторане – даже в таком, где подают спиртные напитки. Она могла подружиться с разведенными женщинами.

Она могла встретить мужчину. Например, вдового брата какой-нибудь подруги. Человека, не знающего, что она камеронианка, – не знающего даже, кто такие камеронианцы. Не ведающего о ее жизни. Никогда не слышавшего о доме, разделенном пополам, о двух предательствах, о том, что лишь невинность Флоры и врожденное достоинство не дали ей стать всеобщим посмешищем. Возможно, он пригласил ее на танцы и ей пришлось объяснять, что она не может пойти. Его это удивило, но не отвратило от Флоры – все ее камеронианские причуды казались ему старомодными и почти очаровательными. Как и всем остальным. Про нее говорили, что она выросла в семье, где исповедовали какую-то странную религию. Что она долго жила на какой-то богом забытой ферме. Она

чуточку странноватая, но на самом деле очень милая. И красивая тоже. Особенно с тех пор, как начала делать прическу.

Может, в один прекрасный день я зайду в магазин и увижу ее.

Нет, конечно. Наверняка она уже давно умерла.

Но допустим, я все же зашла в магазин. Может быть, универмаг. Вокруг – деловитая суета, яркие витрины, винтажный модерновый стиль пятидесятых. Допустим, высокая красивая женщина с отличной осанкой подошла, чтобы меня обслужить, и я как-то поняла – несмотря на ее начесанные, покрытые лаком волосы, розовые или коралловые губы и ногти, – поняла, что это Флора. Мне бы захотелось открыть ей, что я знаю ее, историю ее жизни, хотя мы никогда не встречались. Я представляю себе, как пытаюсь ей это сказать. (Это фантазия, я просто фантазирую.) Я представляю себе, как она слушает – приятная, владеющая собой. Но потом качает головой. Улыбается мне, и в этой улыбке – доля насмешки, слабый отзвук самоуверенной злокозненности. И отчасти – усталость. Она не удивлена моим рассказом, но он ее утомляет. Ее утомляю я, мои представления о ней, все, что я о ней знаю, вообще моя уверенность, что я могу что-то о ней знать.

Конечно, на самом деле я думаю о матери. О той, какой она представала мне в этих снах со словами: «Ничего, у меня просто немножко рука дрожит». Или потрясшее меня непринужденное прощение: «О, я знала, что рано или поздно ты ко мне придешь». О том, как она удивляла меня в этих снах, держась почти бесстрастно. Ее застывшая маска, ее судьба, бо?льшая часть ее болезни – всего этого, оказывается, никогда не бывало. Какое облегчение для меня, какое счастье. Но теперь я припоминаю, что вместе с тем была выбита из колеи. Я должна признаться, что чувствовала себя слегка обманутой. Да, оскорбленной, обманутой, обведенной вокруг пальца – этой неожиданной развязкой, избавлением. Совершенно без усилий выйдя из своей прежней темницы, демонстрируя силы и возможности, каких я у нее и не подозревала, мать меняла не только себя. Она превращала горький комок любви, который я все это время носила внутри, в призрак – во что-то бесполезное и непрошеное, как ложная беременность.

Позже я выяснила, что камеронианцы – наиболее стойкая в убеждениях ветвь так называемых ковенантеров, шотландцев, которые в семнадцатом веке дали Богу обет отринуть молитвенники, епископов, противостоять любому намеку на папизм, любому вмешательству короля. Название конфессии происходит от Ричарда Камерона, поставленного вне закона, или «полевого», проповедника, вскоре казненного. Камеронианцы – они уже давно предпочитают звать себя пресвитерианцами-реформистами – шли в бой, распевая семьдесят четвертый и семьдесят восьмой псалмы[1 - Соответствуют псалмам 73 и 77 в православной традиции. (Здесь и далее – примеч. перев.)]. Они порубили в куски высокомерного епископа Сент-Эндрюса, подстерегши его на большой дороге, и проскакали на конях по его телу. Один из их священников, испытывая подъем духа и неколебимую радость по поводу того, что его должны были повесить, провозгласил анафему всем остальным священникам в мире.

Пять углов

Нил Бауэр и Бренда пили водку с апельсиновым соком в трейлер-парке на утесах над озером Гурон, и Нил рассказал Бренде историю. Это случилось давным-давно, в городе Виктория в Британской Колумбии, где Нил родился и вырос. Он не намного моложе Бренды, разница меньше трех лет, но иногда Бренде кажется, что они из разных поколений, потому что она-то росла тут, а Нил – на Западном побережье, где все было совсем по-другому, и уехал из дома в шестнадцать лет, чтобы путешествовать и работать по всему миру.

Бренда видела Викторию только на фото – сплошные цветы и лошади. Цветы выплескиваются из корзин, подвешенных на старомодные фонарные столбы, заполняют гроты и украшают парки; лошади тащат телеги, набитые людьми, приехавшими посмотреть город.

– Это все фигня для туристов, – говорит Нил. – Полгорода – фигня для туристов. Я не о ней сейчас.

Он рассказывает про Пять углов, часть города – или, может, только небольшой район, – где была школа, аптека, китайская зеленная лавка и кондитерская. Когда Нил ходил в школу, кондитерскую держала сварливая старуха с нарисованными бровями. Ее кошка вечно валялась в витрине, греясь на

солнышке. После смерти старухи лавка перешла к другим людям, откуда-то из Европы, но не полякам и не чехам: из какой-то другой страны, поменьше, вроде бы из Хорватии – есть такая? Они все поменяли в кондитерской. Выбросили засохшие карамельки, воздушные шары, которые нельзя было надуть, непишущие шариковые ручки и нескачущие «мексиканские скачущие бобы». Перекрасили всю лавку сверху донизу, поставили столики и стулья. В лавке по-прежнему продавались конфеты – теперь они стояли в чистых стеклянных банках, а не в воняющих кошкой картонных ящиках, – и линейки, и ластики. Но еще новые владельцы устроили что-то вроде кафе – они подавали кофе, газировку и домашнюю выпечку.

Пекла жена – очень робкая, суетливая; если зашедший покупатель пытался ей заплатить, она звала мужа по-хорватски – ну или на каком там языке они разговаривали, будем считать, что по-хорватски, – так испуганно, словно этот покупатель ворвался к ней в дом и мешает ее частной жизни. Муж хорошо говорил по-английски. Он был маленький, лысый, вежливый и застенчивый и безостановочно курил сигареты, зажигая одну от другой, а жена – крупная, полная, сутулая, вечно в фартуке и кофте. Муж мыл окна, подметал тротуар перед лавкой и принимал оплату, а жена пекла булочки, торты и готовила разные другие вещи, каких в городе раньше не видели, но быстро полюбили, вроде вареников и хлеба с маком.

Две их дочери говорили по-английски, как настоящие канадки, и учились в монастырской школе. Они приходили в лавку в школьной форме ближе к вечеру и принимались за дело. Младшая мыла чашки и стаканы и вытирала столы, а старшая делала все остальное. Она обслуживала столики, сидела за кассой, раскладывала товар на подносах и гоняла мальчишек, которые околачивались в лавке и ничего не покупали. Младшая, разделавшись с мытьем, уходила в заднюю комнату и садилась за уроки, но старшая работала не покладая рук. Если вдруг ей не находилось дела, она стояла у кассы и смотрела за порядком.

Старшую звали Мария, а младшую – Лиза. Лиза была маленькая и миловидная – девочка как девочка. А вот у Марии годам к тринадцати уже была большая отвисшая грудь, торчащий живот и толстые ноги. Мария носила очки, а волосы, заплетенные в косы, укладывала корзинкой вокруг головы. Выглядела она лет на пятьдесят.

И вела себя соответственно, по-хозяйски распоряжаясь в лавке. Родители, кажется, охотно уступили ей бразды правления. Мать удалилась в задние

комнаты, а отец стал помощником и разнорабочим. Мария отлично говорила по-английски, умела обращаться с деньгами, ее ничто не пугало. Дети шептали друг другу: «Фу, эта Мария такая противная, правда?» Но на самом деле они ее боялись. Судя по ее виду, она уже отлично знала, как вести бизнес.

У Бренды и ее мужа тоже свой бизнес. Они купили ферму на южной окраине Логана и заполнили амбар подержанным оборудованием (Корнилиус умеет его чинить), подержанной мебелью и разными другими вещами: посудой, картинами, ножами, вилками, статуэтками, украшениями – в общем, всякой ерундой, в которой любят рыться люди, уговаривая себя, что покупают задешево. Это заведение называется «Мебельный амбар Зендта». Местные в разговорах обычно называют его «магазин подержанной мебели на шоссе».

Бренда с мужем не всегда занимались торговлей. Бренда раньше была воспитательницей в детском саду, а Корнилиус, который на двенадцать лет ее старше, работал в соляных шахтах в Уэлли, на озере. После несчастного случая надо было придумать для него какую-нибудь сидячую работу, и на его компенсацию они купили ферму с истощенной землей и еще крепкими строениями. Бренда уволилась из детского сада, потому что Корнилиус один не справился бы. Он, бывает, часами – а иногда и целыми днями – лежит на диване и смотрит телевизор или просто лежит на полу, превозмогая боль.

По вечерам Корнилиус любит ездить на машине в Уэлли. Бренда никогда сама не предлагает вести – если он не хочет разбередить больную спину, то говорит жене: «Может, сядешь за руль?» Раньше дети тоже ездили с ними, но сейчас они уже старшеклассники – Лорна в одиннадцатом классе, а Марк в девятом – и обычно не хотят. Бренда и Корнилиус ставят фургон у озера и смотрят на чаек, ходящих у кромки воды, на элеваторы для зерна, огромные, подсвеченные зеленым шахты и платформы соляных копей, где когда-то работал Корнилиус, на пирамиды из грубой серой соли. Иногда в порт заходит длинная озерная баржа. Конечно, летом на озере видны яхты, виндсерферы, кто-то удит рыбу с причала. Летом на доске каждый день пишут время захода солнца: люди специально приезжают полюбоваться закатом. Сейчас октябрь, доска пустая, подсветка причала выключена, но один-два заядлых рыбака еще сидят с удочками. Вода покрыта зыбью и на вид холодная, а в заливе ничто не напоминает о развлечениях.

На берегу, однако, по-прежнему идет работа. Ранней весной прошлого года сюда привезли большие валуны и расставили там и сям, кое-где насыпали песок, соорудили длинную каменистую стрелку – все, чтобы получился укромный, защищенный от ветра пляж. Вдоль пляжа идет проселочная дорога, по которой и приехали Корнилиус и Бренда. Корнилиус забывает про больную спину и хочет посмотреть. Грузовики, экскаваторы, бульдозеры трудились весь день, и теперь, вечером, все еще стоят тут – на время укрощенные, бесполезные чудовища. Здесь работает Нил. Он водит эти огромные машины – перетаскивает валуны с места на место, расчищает пространство и строит дорогу, чтобы на пляж можно было проехать. Нил работает в строительной компании Фордайса из Логана, у которой контракт на обустройство пляжа.

Корнилиус смотрит на все. Он знает, что? нагружают на баржи (пшеницу мягких сортов, соль, кукурузу) и куда эти баржи потом пойдут. Он понимает, как углубляют дно в гавани, и каждый раз ходит смотреть на огромную трубу, пересекающую пляж, – через нее качают со дна разжиженный грунт и камни, сроду не видавшие света дня. Корнилиус подходит к трубе и слушает шум внутри – грохот и стон несущихся по ней камней и воды. Он спрашивает, что останется от всего этого благоустройства после суровой зимы, ведь озеро попросту смахнет с места валуны и пляж, а вода, как обычно, подгрызет глинистые обрывы.

Бренда слушает Корнилиуса и думает про Нила. Ей приятно находиться там, где Нил проводит свои дни. Она любит воображать рев машин, их неутомимую силу, мужчин в кабинах – голоруких, небрежно укрощающих эту мощь, словно от природы знающих, зачем весь этот рев, зачем подгрызать линию берега. Их небрежную, благодушную властность. Бренда наслаждается тем, что от их тел пахнет трудом, что они разговаривают на языке труда, поглощены им и не замечают ее. Она счастлива, что заполучила мужчину, который приходит к ней прямо отсюда.

Если она здесь с Корнилиусом, но давно не видалась с Нилом, ей не по себе, она как потерянная, ей кажется, что этот мир может внезапно обратиться против нее. Сразу после встречи с Нилом это – ее царство. Впрочем, сразу после встречи с Нилом весь мир – ее царство. Накануне свидания, например вчера ночью, она должна была бы радостно предвкушать его, но, по правде сказать, сутки перед каждым свиданием – даже двое-трое суток – кажутся ей слишком опасными, полными возможных промашек и потому приносят не радость, а лишь настороженность и беспокойство. Она ведет обратный отсчет – в буквальном

смысле отсчитывает часы. Она склонна заполнять это время похвальными поступками – разными хозяйственными делами по дому, которые давно откладывала, стрижкой газона, реорганизацией «Мебельного амбара», даже прополкой альпийской горки от сорняков. Утром в день свидания время ползет невыносимо медленно, и эти часы полны опасностей. У нее обязательно подготовлена легенда, куда она идет сегодня, но это должно быть какое-нибудь не самое необходимое дело, чтобы не привлекать излишнего внимания. Поэтому всегда есть шанс, что Корнилиус спросит: «А ты не можешь это сделать ближе к выходным? В какой-нибудь другой день?» Бренду беспокоит даже не то, что она никак не сможет предупредить Нила. Он-то подождет час и поймет, что ей не удалось вырваться. Нет, она думает, что сама этого не вынесет. Что свидание было так близко – и вдруг его отняли. Однако физического томления она в эти часы не ощущает. Даже тайные приготовления – мытье, эпиляция, умащение маслами и духами – не возбуждают ее. Она погружается в ступор от пугающих мелочей, лжи, ухищрений и оживает лишь при виде машины Нила. За пятнадцать минут пути страх, что не удастся улизнуть из дома, сменяется страхом, что Нил не явится на их постоянное место – в укромный тупик, где дорога кончается у болота. В последние часы перед свиданием Бренда начинает жаждать чего-то уже не совсем материального и не столь физического; так что, если свидание не состоится, это будет не как пропущенный обед для голодного человека – скорее как пропущенная важная церемония, от которой зависит жизнь или спасение.

Когда Нил был уже подростком, но еще не дорос до посещения баров и по-прежнему околачивался в кондитерской «Пять углов» (хорваты сохранили прежнюю вывеску), произошла перемена, памятная всем, кто ее застал. (Так считает Нил, но Бренда говорит: «Уж не знаю – для меня это все происходило где-то еще, не у нас».) Никто не знал, что с этим делать, никто не был готов. В некоторых школах боролись с длинными волосами у мальчиков, другие школы считали, что лучше смотреть на это сквозь пальцы и сосредоточиться на серьезных вещах. И только просили, если волосы длинные, собирать их в хвостик резинкой. А одежда?! Цепи, бусы из зерен, веревочные сандалии, индийский хлопок, африканские узоры, все вдруг стало мягким, свободным, ярким. В Виктории эту перемену, возможно, держали под контролем не так жестко, как в других местах. Она перехлестывала через край. Может, из-за климата люди в тех местах были мягче – все, не только молодежь. Всё окутал вихрь бумажных цветов, дурманящего дыма и музыки (которая, говорит Нил, тогда казалась потрясением основ, а сейчас выглядит совершенно невинно). Эта музыка гремела из окон в центре города, увешанных затрепанными грязными

флагами, неслась над клумбами в Биконхилл-парке и цветущим желтым дроком на прибрежных утесах и долетала до пляжей, полных радости, с которых открывался вид на волшебные вершины Олимпийских гор. Вихрь захватил всех. Университетские преподаватели ходили с цветами за ухом, почтенные матери семейств могли явиться на люди в хипповской одежде. Нил и его друзья, конечно, презирали таких людей – примазавшихся попутчиков, старикашек, лишь кончиком пальца пробующих незнакомые воды. Нил и его друзья относились к миру музыки и веществ предельно серьезно.

В кондитерской они не употребляли, уходили куда-нибудь. Порой добредали до самого кладбища и устраивались там на стене волнолома. Иногда сидели возле сарая, пристроенного сзади к лавке. Войти внутрь они не могли – сарай был заперт на замок. Потом они возвращались в кондитерскую и, охваченные свиняком, пили кока-колу, ели гамбургеры, чизбургеры, булочки с корицей. Насытившись, они откидывались на стульях и созерцали движение узоров на штампованном жестяном потолке, выкрашенном хорватами в белый цвет. Цветы, башни, птицы, чудовища отделялись от потолка и плавали над головами.

– Что же вы принимали? – спрашивает Бренда.

– Все хорошее, кроме случаев, когда товар попадался некачественный. Травку, кислоту, иногда мескалин. Иногда в сочетании. Ничего серьезного.

– А я-то за всю жизнь только треть косяка выкурила на пляже. Я сначала даже не знала, что это, а когда пришла домой, отец отвесил мне оплеуху.

(Неправда. Не отец, а Корнилиус. Это он отвесил ей оплеуху. Они тогда еще не были женаты, Корнилиус работал в шахте в ночную смену, а Бренда сидела на пляже вечерами, уже в темноте, с друзьями-ровесниками. Назавтра после косяка она рассказала Корнилиусу, и он отвесил ей оплеуху.)

В кондитерской они только ели, отвисали, блаженно кайфуя, и играли в дурацкие игры – например, возили детские машинки по столикам. Как-то раз один парень лег на пол, и они поливали его кетчупом. Всем было плевать. Дневные покупатели – домохозяйки, зашедшие купить торт, и пенсионеры, убивающие время за чашкой кофе, – не бывали в кондитерской по вечерам. Мать и Лиза уезжали на автобусе домой, куда-то туда, где они жили. Потом даже отец стал уезжать, где-то сразу после ужина. За главную оставалась Мария. Ей было

все равно, чем занимаются Нил с друзьями, пока они платили за съеденное и ничего не ломали.

Таков был мир веществ, царство парней постарше. Младших они туда не допускали. И не сразу заметили, что у младших тоже что-то есть. Какой-то свой секрет. Мелкие обнаглели и начали задирать нос. Кое-кто из них приставал к старшим, желая купить товар. Стало ясно, что у мальчишек откуда-то берутся деньги.

У Нила был – и сейчас есть – младший брат по имени Джонатан. Сейчас он очень порядочный человек, женат, работает учителем в школе. А тогда Джонатан начал отпускать намеки; и другие мальчишки тоже, они не могли удержать в себе тайну, и скоро все выяснилось. Деньги они получали от Марии. Она платила за то, что они занимались с ней сексом. Это происходило в сарае на задах кондитерской, после того как Мария запирала заведение на ночь. У нее был ключ от сарая.

Кроме того, у нее был ежедневный доступ к деньгам. Она снимала кассу вечером, она вела бухгалтерские книги. Родители ей полностью доверяли. Почему бы нет? Она хорошо считала, она была предана семейному бизнесу. Она лучше родителей понимала его целиком, от и до. Оказалось, что родители были робки и полны суеверий в том, что касается денег, и не хотели класть их в банк. Деньги хранились в сейфе или просто в железном ящике, откуда их и доставали по мере надобности. Должно быть, родители думали, что нельзя доверять никому, даже банкам, – только членам семьи. Наверно, они считали, что Марию им Бог послал: такая надежная, умная и притом некрасивая, она не станет возлагать надежды или тратить силы ни на что, кроме семейного бизнеса. Прямо-таки столп, на котором держится все заведение.

Мария была на голову выше и фунтов на тридцать-сорок тяжелее мальчиков, которым платила.

Бренда всегда переживает несколько неприятных минут, сворачивая с шоссе на второстепенную дорогу. Если ее увидят на шоссе, она это как-нибудь да объяснит, а вот на проселке ей делать нечего. Фургон приметный, его ни с чем не спутать. Кто-нибудь его здесь увидит, и ее песенка спета. По открытому месту ехать где-то с полмили, дальше начинается лес. Бренда надеялась, что

фермеры посадят у дороги кукурузу, она вырастет высокая и будет скрывать машину. Но фермеры посадили фасоль. Здесь хотя бы не опрыскивают обочины пестицидами; травы, сорняки и колючие плети малины вымахали в рост человека, – правда, фургон им все равно не скрыть. Здесь растут золотарник и ваточник – плоды-коробочки уже полопались, болтаются грозди ярких ядовитых ягод, и все заплетено диким виноградом, он даже на дорогу выползает. И вот наконец Бренда спасена – машина ныряет в туннель лесной дороги. Кедры, тсуги; подальше в лес, где почва более влажная, – пушистые лиственницы; много красных кленов, их листья испещрены желтыми и бурыми пятнами. Здесь нет водоемов, никаких луж с черной водой, даже если заехать совсем глубоко в лес. Им повезло – летом и осенью стояла сушь. То есть Бренде с Нилом повезло, а не фермерам. Если бы год выдался дождливый, Нил и Бренда не смогли бы тут встречаться. Твердые колеи, по которым Бренда осторожно ведет машину, оплыли бы, а пятачок в конце дороги, где можно развернуться, превратился бы в яму с жидкой грязью.

Бренда уже проехала по лесу мили полторы. На дороге попадаются сложные места – одна-две небольшие горки, скорее, кочки, выпирающие из болотистой почвы; узкий бревенчатый мостик через ручей, где никакой воды не видно, только желтая жеруха, которой забито русло, да крапива по берегам впилась корнями в сухую глину.

Нил ездит на старом синем «меркурии» – этой темной синеве легко прикинуться лужей, бочагом, пятном болотного мрака под деревьями. Бренда щурится, пытаясь разглядеть машину. Она не против приехать на несколько минут раньше Нила – будет время перевести дух, причесаться, проверить макияж, побрызгать шею (а иногда и промежность заодно) одеколоном. Но если приходится ждать дольше, Бренда начинает нервничать. Она боится не диких собак и не насильника, таящегося в кустах, – она еще девочкой собирала здесь ягоды и потому сама выбрала это укромное место для свиданий. Боится она не присутствия, а отсутствия. Отсутствия Нила; опасения, что он ее бросил, вдруг отрекся от нее. От этого подозрения любая местность, любая вещь становится уродливой, опасной и бессмысленной. Деревья, сады, парковочные счетчики, кофейные столики – не важно. Однажды Нил не приехал – заболел; то ли пищевое отравление, то ли самое чудовищное похмелье в его жизни, объяснил он в тот вечер по телефону. Ей пришлось притвориться, что звонит клиент, желающий продать диван. Бренда навсегда запомнила то ожидание, истекающую по капле надежду, жару, насекомых – был июль – и свое тело, которое исходит по?том на сиденье этого самого фургона, словно признаваясь в собственном поражении.

Он здесь, он приехал первым; только одна фара «меркурия» виднеется в глубокой тени под кедрами. Словно ты только что умирала от жары, вся исцарапанная колючими кустами, искусанная мошкой, – и вдруг погружаешься в прохладную воду; ласковые волны смывают с тебя все беды и уносят в глубину. Бренда ставит фургон, поправляет волосы, чтобы лежали попышнее, и выскакивает наружу; дергает дверь, показывая Нилу, что заперла машину, иначе он заставит ее бежать обратно, совсем как Корнилиус, – «а ты уверена, что заперла?». Бренда идет по небольшому пятну солнечного света, по опавшим листьям, усеявшим землю, и смотрит на себя со стороны: белые брюки в обтяжку, бирюзовый топ, белый ремень на бедрах, сумка на плече. Женщина с аппетитной фигурой, светлой веснушчатой кожей и голубыми глазами. Глаза подведены синими тенями и контуром и призывно сощурены от света. Рыжеватые светлые волосы – вчера она подкрасила корни – играют на солнце, как лепестки цветка. Бренда надела туфли на каблуках – исключительно ради этих нескольких секунд, когда она переходит дорогу и Нил смотрит на нее: пусть ноги кажутся длиннее и бедра качаются призывнее.

Очень, очень часто они занимаются любовью у Нила в машине – прямо здесь, на месте встречи, хотя сами же вечно твердят друг другу, что надо подождать. Подожди, вот доберемся до твоего трейлера. Но скоро слово «подожди» стало у них означать прямо противоположное. Однажды они начали просто на ходу. Бренда стащила трусы, задрала широкую летнюю юбку, не говоря ни слова, не глядя на Нила, – и в результате они остановились прямо у шоссе, чудовищно рискуя. Теперь каждый раз, когда они едут мимо этого места, Бренда говорит что-нибудь типа «только не съезжай с дороги» или «здесь следовало бы поставить предупредительный знак».

«Табличку об историческом событии», – отзывается Нил.

У их страсти есть история – как у семей и у бывших одноклассников. И кроме этого – почти ничего. Они ни разу не ели вместе, не смотрели кино вдвоем. Но они прошли через разные совместные приключения, опасности – настоящие, не просто секс на обочине шоссе. Они шли на риск, удивляя друг друга, и всегда выигрывали. Во сне иногда бывает такое чувство, что ты уже видела этот сон, что он снился тебе уже не раз, и ты знаешь, что на самом деле все гораздо сложнее. Знаешь, что на самом деле существует целая подземная система, которую называют снами за неимением лучшего слова, и эта система состоит не из дорог и туннелей, она больше похожа на живое тело, растягивается и свивается узлами, непредсказуемая, но предельно знакомая, – и ты знаешь, где

ты сейчас и где была всегда. Именно так обстояло дело с Брендой, Нилом и их близостью, как-то вроде этого, и они примерно одинаково видели разные связанные с этим вещи и доверяли друг другу. Пока что.

В другой раз, тоже на шоссе, Бренда заметила приближающийся белый автомобиль – старый «мустанг»-кабриолет с откинутым верхом (дело было летом) – и соскользнула на пол.

– Кто в этой машине? Посмотри и скажи мне, быстро!

– Девчонки, – ответил Нил. – Четыре или пять. Девки в поисках парней.

– Моя дочь. – Бренда снова устроилась на сиденье. – Хорошо, что я была не пристегнута.

– У тебя есть дочь, которая уже водит машину? И у нее «мустанг»?

– Это «мустанг» ее подруги. Лорна еще не водит. Но могла бы, ей шестнадцать лет.

В воздухе ощутимо повисли разные слова, которые он мог бы сказать, но она надеялась, что не скажет. То, что обычно говорят мужчины о молодых девушках, просто не могут удержаться.

– У тебя тоже могла бы быть дочь такого возраста, – продолжала Бренда. – Может, и есть, просто ты не знаешь. И еще она мне соврала. Сказала, что пойдет играть в теннис.

Нил опять не произнес ничего такого, что она ожидала, но не хотела услышать. Что-нибудь про вранье. Из своего жизненного опыта.

Он только сказал:

– Успокойся. Расслабься. Ничего не случилось.

Она не знала и не могла знать, насколько он понимает ее чувства в этой ситуации. Понимает ли он вообще что-нибудь. Они никогда не говорили о ее

внешней жизни. Не упоминали Корнилиуса, хотя именно с ним Нил общался, когда впервые пришел в «Мебельный амбар». Он хотел купить велосипед – обычный, дешевый, чтобы ездить по проселочным дорогам. В «Амбаре» тогда не было велосипедов, но Нил ушел не сразу – он побеседовал с Корнилиусом: о том, какой велосипед хочет, о том, как чинить и совершенствовать такой велосипед, и о том, как они могут найти то, что ему нужно. Он сказал, что заглянет еще раз. И правда заглянул, очень скоро, когда в магазине была только Бренда. Корнилиус ушел в дом, прилечь, у него опять разболелась спина. В этом разговоре Нил и Бренда полностью объяснились, хотя открыто ничего не сказали. Когда он позвонил ей и пригласил выпить с ним – в таверне у дороги, идущей берегом озера, – Бренда точно знала, зачем он ее приглашает, и знала, что ему ответит.

Она сказала ему, что ходит налево первый раз в жизни. Это было правдой в одном смысле и ложью в другом.

В рабочие часы кондитерской Мария не смешивала дело и удовольствие. Она принимала деньги у покупателей, как обычно. Мария держалась по-прежнему: она была здесь главная. Мальчишки знали, что могут из нее что-то выжать, но пока не очень понимали сколько. Доллар. Два доллара. Пятерку. Причем она не зависела от одного конкретного мальчика. Снаружи всегда околачивались несколько приятелей, готовых услужить; заперев лавку, Мария выбирала из них одного и вела в сарай, а потом уезжала домой на автобусе. Она предупредила мальчишек, чтобы не болтали, а то не видать им больше денег. Некоторое время они ей верили. Поначалу она и пользовалась их услугами нерегулярно и не очень часто.

Так было вначале. Прошло несколько месяцев, и все изменилось. Потребности Марии росли. Мальчишки торговались уже открыто и стали менее уступчивы. Они разболтали всем. Власть Марии таяла – сначала по капле, потом стремительно.

«Мария, а Мария, дай десятку. И мне тоже! Мария, и мне. Давай, давай, ты же меня знаешь».

«Двадцатку, Мария. Дай двадцатку. Ну дай. Двадцать баксов. Мария, ты мне должна. Давай, давай. Ты же не хочешь, чтобы я рассказал. Выкладывай».

«Двадцатку, двадцатку, двадцатку». И Мария раскошеливается. Теперь она ходит в сарай каждый вечер. И хуже того – некоторые мальчишки начинают отказываться. Они требуют деньги вперед. Берут деньги, а потом от всего отпираются. Говорят, что она им не платила. Она платила, и даже при свидетелях, но все свидетели это отрицают. Мотают головами, дразнят ее. «Нет. Ты ему никогда не платила. Я видел. Дай мне денег сейчас, и я пойду с тобой. Честно, пойду. Дай двадцать долларов».

Теперь и ребята постарше, выведав все у младших братьев, подходят к кассе: «Мария, а мне? Ты ведь и меня знаешь. Дай-ка и мне двадцать». Эти парни не ходят с ней в сарай. Никогда. Думает ли она, что они захотят? Они даже не обещают, просто требуют денег. «Мария, ты же меня давно знаешь». Клянчат, угрожают. «Ведь я тоже твой друг, правда, Мария?»

Нету у Марии друзей.

Ее степенность, зоркость исчезли – теперь она была дика, мрачна, озлоблена. Она кидала на мальчишек взгляды, полные ненависти, но продолжала выкладывать деньги. Раздавала банкноты. Даже не пытаясь поторговаться, поспорить, отказать. Она раскошеливалась в ярости, в безмолвной ярости. Чем сильней ее изводили, тем легче из кассы вылетали двадцатидолларовые бумажки. Но теперь она мало что делала – а может, и вовсе ничего не делала, – чтобы их заработать.

Нил и его друзья нынче все время под кайфом. Постоянно, потому что теперь у них есть деньги. Они созерцают сладостные струи атомов, текущие под пластиковой поверхностью столиков. Разноцветные души выстреливают у них из-под ногтей. Мария сошла с ума – лавка истекает деньгами, словно кровью. Как это может продолжаться дальше? И чем кончится? Наверняка Мария уже залезла в сейф – в кассе после дня торговли просто не наберется столько. И все это время мать Марии по-прежнему печет булочки и лепит вареники, а отец подметает тротуар и приветствует входящих покупателей. Отцу и матери никто ничего не сказал. Они продолжают жить как раньше.

Им пришлось обо всем выведывать самим. Они нашли неоплаченный Марией счет – что-то вроде этого, кто-то из поставщиков явился с неоплаченным счетом, – и они пошли взять денег в сейфе, чтобы заплатить, и оказалось, что денег там нет. Там, где они держали деньги, – в сейфе, железном ящике или где, – никаких денег не было. И ни в каком другом месте тоже не было. Нигде не

было. Так родители Марии обо всем и узнали.

Мария умудрилась раздать всё. Все сбережения семьи, всё понемножку отложенное из прибыли, все оборотные средства. В самом деле всё. Родители больше не могли оплачивать аренду лавки, электричество, счета от поставщиков. Они не могли больше держать кондитерскую. Во всяком случае, они так решили. Может, у них просто не хватило духу продолжать торговлю.

Лавку заперли. На двери появилось объявление: «Закрыто». Прошел почти год, пока двери открылись снова. В помещении бывшей кондитерской оборудовали прачечную-автомат.

Говорили, что именно мать – крупная, застенчивая, сутулая – настояла на том, чтобы ее дочь судили. Она боялась английского языка и кассового аппарата, но потащила Марию в суд. Конечно, та была несовершеннолетняя, поэтому ее могли только отправить в колонию, а мальчишкам и вовсе ничего не было. К тому же они все врали – каждый говорил, что это не он. Родители Марии, вероятно, устроились на какую-то работу, но не уехали из Виктории, потому что Лиза никуда не делась. Она по-прежнему плавала в бассейне YMCA, а через несколько лет поступила продавщицей в универмаг Итона, в отдел косметики. К этому времени она стала очень гламурная и держалась высокомерно.

У Нила по просьбе Бренды всегда наготове водка и апельсиновый сок. Она где-то читала, что алкоголь вызывает дефицит витамина С, а апельсиновый сок помогает его восполнить. И еще она надеется, что после водки у нее не будет пахнуть изо рта. Нил вроде бы убирает в трейлере к ее приходу – во всяком случае, судя по бумажному мешку, полному банок из-под пива, газетам, не столько сложенным в стопку, сколько сдвинутым в кучу, и носкам, запинанным в угол. Может, это сосед Нила прибирался. Некто Гэри – Бренда его ни разу не встречала, не видела его фотографий и не узнает, встретив на улице. Узнает ли он ее? Он в курсе, что она сюда приходит, но знает ли он ее имя? Возвращаясь вечером домой, замечает ли он запах ее духов, запах ее похоти? Бренде нравится в трейлере – нравится его полная неприукрашенность, временность. Вещи лежат где придется. Ни занавесок, ни сервировочных салфеток, даже солонки и перечницы нет – соль в коробке, перец в жестянке, как принесли из магазина. Бренде нравится и кровать Нила – застеленная кое-как, грубым пледом, с плоской подушкой. Это не брачное ложе и не одр болезни, оно не сулит утешения и не осложняет жизнь. Эта кровать служит Нилу для похоти и

сна, одинаково самозабвенных и крепких. Бренде нравится тело Нила – такое живое и уверенное в своих правах. Она хочет, чтобы Нил даже не требовал от нее, а командовал ею. Она хочет быть его территорией.

Грязь отчасти беспокоит ее только в туалете, как любая чужая грязь. Жаль, что Нил и его сосед не очень-то стараются мыть унитаз и раковину.

Бренда и Нил садятся за стол, чтобы выпить. Они смотрят в окно трейлера на стальное, рябое, бликующее озеро. Здешние деревья, открытые озерным ветрам, уже почти голы. Костяки берез и тополей, жесткие и блестящие, как солома, обрамляют воду. Через месяц, может быть, выпадет снег. Через два так уж точно. Навигация на морском пути, ведущем из озера в океан, закроется, лодки встанут на прикол до весны, между берегом и открытой водой вырастут горные хребты изо льда. Нил не знает, что будет делать, когда работы на пляже прекратятся. Может, останется в этих местах и попробует найти другую работу. А может, сядет на пособие по безработице, купит снегоход, займется всякими зимними развлечениями. А может, поедет куда-нибудь, поищет работу где-нибудь еще, навестит друзей. У него друзья по всей Северной Америке и за ее пределами. Даже в Перу у него есть друзья.

– Так что было потом? – спрашивает Бренда. – Ты совсем не знаешь, что было потом с Марией?

Нил говорит, что нет, понятия не имеет.

Но Бренда никак не может забыть про эту историю; она не дает ей покоя, как налет на языке, как послевкусие во рту.

– Может быть, она вышла замуж, – говорит Бренда. – Когда ее выпустили. Чтобы выйти замуж, не обязательно быть красавицей. Это уж точно. А может, она даже похудела и стала выглядеть лучше.

– Ага, может, теперь мужики ей платят, а не она им.

– А может, она до сих пор где-нибудь сидит. Где-нибудь под замком.

Бренда чувствует боль между ног. Такое бывает после очередного сеанса. Если она сейчас встанет, то почувствует, как там у нее пульсирует – кровь приливает обратно во все мелкие сосуды, смятые, сдавленные, травмированные. Она будет вся пульсировать, как большая набрякшая потертость.

Бренда делает большой глоток из стакана и спрашивает:

– Так сколько ты у нее вытянул?

– Я от нее вообще ничего не получил. Я знал ребят, что брали у нее деньги. Мой брат Джонатан на ней неплохо заработал. Интересно, что он сейчас скажет, если ему об этом напомнить.

– А парни постарше? Ты же сам сказал, что парни тоже. Я не поверю, что ты просто так сидел и смотрел и что тебе ничего не досталось.

– А я тебе именно это и говорю. Я ни гроша не получил.

Бренда укоризненно цокает языком, допивает стакан и передвигает его по столу, скептически глядя на мокрые круги.

– Хочешь еще? – Нил забирает у нее стакан.

– Мне пора идти. Уже скоро.

Заниматься любовью можно наспех, в крайнем случае, а вот для ссоры нужно время. Они что, начинают ссориться? У Бренды нервы на взводе, но она ощущает и счастье. Единоличное, спрятанное внутри; не такое, что расплескивается вокруг, окрашивая весь мир в радужные цвета и наполняя тебя благодушным безразличием к собственным словам. Как раз наоборот. Бренда чувствует себя легкой, острой, отдельной от всего остального мира. Когда Нил приносит ей полный стакан, она сразу делает глоток, чтобы закрепить это чувство.

– А ведь тебя зовут так же, как моего мужа, – говорит она. – Странно, как я этого раньше не замечала.

Еще как замечала, просто не упоминала, зная, что Нилу будет неприятно это услышать.

– Корнилиус и Нил – это разные имена.

– Корнилиус – голландское имя. Уменьшительное от него будет Нил.

– Да, но я не голландец, и меня зовут не Корнилиус, а просто Нил.

– Все равно, если бы у него было уменьшительное имя, его звали бы Нил.

– Но у него нет уменьшительного имени.

– А я не говорила, что есть. Я сказала «если бы».

– А если нет, то чего об этом говорить?

Он, должно быть, чувствует то же, что и она, – медленно, неостановимо нарастающий новый восторг, потребность говорить и слышать резкие слова. Какое острое упоение, освобождение – выпустить на волю первый удар, и каким неотразимым соблазном манит лежащее впереди – разрушение. Не останавливаешься, чтобы подумать, почему тебе желанно это разрушение. Желанно, вот и все.

– А нам обязательно пить каждый раз? – вдруг резко говорит Нил. – Мы что, спиться хотим?

Бренда торопливо отхлебывает из стакана и отодвигает его:

– Кому это обязательно пить каждый раз?

Она думает – он имеет в виду, что им следует переключиться на кофе или кока-колу. Но он встает, подходит к одежному шкафчику, открывает ящик и говорит:

– Поди сюда.

– Даже смотреть не хочу, – отвечает она.

– Ты даже не знаешь, что у меня тут.

– Еще как знаю.

Она, конечно, не знает. То есть не конкретно.

– Оно не кусается, вообще-то.

Бренда снова отпивает из стакана и смотрит в окно. Солнце, уже идущее на закат, бросает на стол яркое пятно света, согревая ей руки.

– Ты не одобряешь, – говорит Нил.

– Я не одобряю и не не одобряю, – отвечает она, чувствуя, что теряет контроль над разговором и что ее внутреннее счастье пошло на убыль. – Мне все равно, что ты делаешь. Это твое дело.

– «Не одобряю и не не одобряю», – жеманным голосом передразнивает он. – «Мне все равно, что ты делаешь».

Это сигнал, который обязательно должен подать кто-то из двоих. Вспышка ненависти, чистой злобы, словно лезвие ножа блеснуло. Сигнал, что теперь можно ссориться в открытую. Бренда делает большой глоток, словно чувствуя, что заслужила его. Ее охватывает мрачное удовлетворение. Она встает и говорит:

– Мне пора идти.

– А если я еще не готов?

– Я сказала, что мне пора, а не тебе.

– Да ну. У тебя что, машина тут?

– Я могу дойти до своей.

– Дотуда пять миль.

– Пять миль вполне можно пройти.

– В таких туфлях?

Оба смотрят на ее желтые туфли, по цвету гармонирующие с желтыми птицами-апплике на бирюзовой кофточке. И то и другое куплено и надето для встречи с ним.

– Ты эти туфли надела не для того, чтобы в них ходить, – говорит Нил. – Ты их надела, чтобы на каждом шагу вихлять своей толстой жопой.

Она идет по дороге вдоль берега озера, по гравию, терзающему ступни сквозь подметки туфель. Каждый шаг требует внимания, иначе запросто можно подвернуть ногу. В одной кофточке уже холодно. Ветер с озера хлещет сбоку, и каждый раз, как по дороге проезжает машина, особенно грузовик, Бренду бьет жесткая волна воздуха, швыряя в лицо песок. Конечно, некоторые грузовики притормаживают, и легковушки тоже, и мужчины что-то орут из окон. Одна машина съезжает, буксуя, на гравий и останавливается чуть впереди. Бренда замирает, не зная, что делать, но через некоторое время машина возвращается на асфальт и уезжает, а Бренда опять начинает шагать вперед.

Ничего страшного не происходит, ей ничто не грозит. Она даже не боится уже, что ее увидит кто-нибудь из знакомых. Она ощущает такую свободу, что ей все равно. Она вспоминает первый раз, когда Нил пришел в «Мебельный амбар», – как он обнял за шею Самсона, их собаку, и сказал: «Сторож-то у вас так себе, мэм». Бренда тогда подумала, что это «мэм» – нахальное, фальшивое, словно из какого-нибудь старого фильма с Элвисом Пресли. А то, что он сказал после этого, было еще хуже. Она посмотрела на Самсона и сказала: «По ночам он лучше». А Нил: «Я тоже». Наглый, заносчивый бахвал, подумала она. И не настолько молод, чтобы ему это сошло с рук. После второй встречи ее мнение даже не особо изменилось. Но все, что ей в нем не нравилось, стало лишь камнем на дороге, который нужно миновать. Она могла бы дать понять, что ему не обязательно так себя вести. Ее задачей было – принять его дары всерьез,

чтобы он тоже мог стать серьезным. И спокойным, и благодарным. Но почему она так быстро сочла все его неприятные качества чем-то поверхностным?

Она уже в начале второй мили (ну, может, в конце первой), когда ее догоняет «меркурий». Он притормаживает, съезжая на гравий. Она подходит и садится в машину. Почему бы и нет. Это не значит, что она обязана с ним разговаривать или пробыть с ним больше нескольких минут, которые занимает дорога до болота и ее машины. Его присутствие не обязательно должно для нее что-то значить, как ничего не значит дующий в лицо ветер с песком.

Она крутит ручку, открывая окно полностью, чтобы отгородиться от любых его слов потоком ревущего холодного воздуха.

– Я хочу извиниться за неуместные личные выпады, – говорит он.

– С какой стати? У меня задница и правда толстая.

– Нет.

– Да, – говорит она вполне искренне – скучным голосом, не допускающим дальнейших споров. Нил затыкается на пару миль – до тех пор, пока они не сворачивают под деревья, на дорогу, ведущую к болоту.

– Если ты подумала, что там, в ящике, были шприцы, то ничего подобного.

– Это не мое дело, что у тебя там.

– Всего лишь оксики и люд. Немножко гаша.

Она вспоминает ссору с Корнилиусом, после которой они чуть не разорвали помолвку. Не тогда, когда он дал ей пощечину за косяк – в тот раз они быстро помирились. Нет, ссора вышла из-за чего-то такого, что вообще никакого отношения к ним не имело. Они заговорили об одном человеке, который работал с Корнилиусом в шахте, и о его жене, и об их умственно отсталом ребенке. Корнилиус сказал, что этот ребенок все равно что овощ: он сидит в этаком загоне, отгороженном в углу комнаты, бормочет что-то и гадит себе в штаны. Ему лет шесть-семь, и он навсегда останется в таком виде. Корнилиус заявил,

что, если у людей получился такой ребенок, они имеют право от него избавиться. Он сказал, что сам бы именно так и сделал. Никаких сомнений. Есть очень много способов избавиться от такого ребенка и не попасться, и он уверен, что многие так и поступают. Они с Брендой ужасно поссорились из-за этого. Но все время, пока они ссорились, Бренда подозревала, что на самом деле Корнилиус ничего подобного не сделал бы. Однако он считал, что обязан это заявить. В разговоре с ней. Говоря с ней, он счел нужным утверждать, что поступил бы именно так. И потому она злилась на него сильнее, чем если бы он был искренне груб и жесток. Он хотел вызвать ее на спор. Хотел, чтобы она протестовала, чтобы пришла в ужас, но зачем? Мужчины вечно стремятся шокировать женщин, требуя ликвидации ребенка-овоща, или принимая наркотики, или ведя машину на манер камикадзе, но зачем все это? Чтобы показать свою крутость, брутальность на фоне бабьей вялой жалостливой добродетели? Или чтобы с финальным рыком таки уступить и поубавить в себе крутости и отвязности? Каков бы ни был ответ, женщинам это в конце концов надоедает.

Когда в шахте произошел несчастный случай, Корнилиуса могло задавить насмерть. Он работал в ночную смену. В мощной стене каменной соли выдалбливают щель, потом сверлят отверстия для взрывчатки, прилаживают заряды; взрыв устраивают раз в сутки, без пяти минут полночь. Огромный пласт соли отделяется от стены и начинает свой путь на поверхность. Корнилиус был обборщиком: его поднимали в клети к потолку выработки, и он должен был отбить слабо держащиеся куски и закрепить болты, которые фиксируют потолок, чтобы он не обвалился при взрыве. Какая-то неполадка в гидравлическом приводе, который поднимал клеть, – Корнилиус притормозил, потом ускорил движение и вдруг увидел потолок, что несся на него так быстро, словно захлопывали крышку. Он пригнулся, клеть остановилась, и скальный выступ ударил его в спину.

К этому времени он проработал в шахте семь лет и никогда не рассказывал Бренде, каково там, внизу. Теперь рассказывает. Он говорит, что там как будто отдельный мир – пещеры, колонны, они тянутся на много миль под озером. Если зайти в штольню, где нет машин, освещающих эти серые стены и воздух, наполненный соляной пылью, и выключить лампу на каске, можно постичь настоящую темноту, какой живущие на поверхности Земли никогда не увидят. Машины остаются там, внизу, навсегда. Некоторые машины спускают туда по частям и собирают на месте. Ремонтируют их все прямо там, в шахте. А в самом конце снимают запчасти, которые еще можно использовать, а остальное затаскивают в выработанный тупик и запечатывают, словно хоронят. Эти

подземные машины ужасно шумят, когда работают; их шум и гул вентиляторов заглушают любой человеческий голос. А теперь там, внизу, есть новая машина, которая делает то, что раньше делал Корнилиус. Причем сама, без участия человека.

Бренда не знает, скучает ли Корнилиус по подземелью. Он говорит, что, глядя на озеро, не может не думать о том, что лежит под ним, – о том, что человеку, не бывавшему там, невозможно вообразить.

Нил и Бренда едут по лесной дороге, под деревьями; ветер здесь внезапно почти не ощущается.

– И да, я брал у нее деньги, – говорит Нил. – Сорок долларов. По сравнению с тем, что получили некоторые, это вообще ничто. Я клянусь, сорок долларов, это всё. Ни центом больше.

Бренда молчит.

– Я не собирался исповедоваться, – продолжает он. – Я просто хотел об этом поговорить. И в результате все равно соврал, и сейчас мне от этого противно.

Теперь Бренде лучше слышно, и она замечает, что у него такой же упавший и усталый голос, как у нее. Она видит его руки на руле и думает о том, что вряд ли смогла бы описать его внешность. На расстоянии – например, когда ждет ее в машине – он кажется ярким размытым пятном света; его присутствие – облегчение и обещание. Вблизи он распадается на отдельные детали: шелковистая или загрубевшая кожа, жесткие, как проволока, волосы или только что сбритая щетина, запахи – его личные, неповторимые или как у всех мужчин. Но в основном энергия – присущее ему качество, заметное в тупых коротких пальцах или в загорелой крутизне лба. Впрочем, энергия – тоже не совсем точное слово: он словно туго налит соком, который поднимается из корней, как у дерева, прозрачный, подвижный. Это и притягивает к нему Бренду – этот сок, ток под кожей, словно это и есть его единая, истинная суть.

Если она сейчас повернется, то увидит его как есть: изгиб загорелого лба, отступающую бахрому курчавых каштановых волос, тяжелые брови, в которых уже кое-где видны седые волоски, глубоко посаженные светлые глаза, рот

человека, умеющего получать удовольствие от жизни, обидчивого и гордого. Мальчик-мужчина, уже начинающий стареть, – хотя когда он лежит на Бренде, то кажется ей шальным и легким, в отличие от Корнилиуса, который придавливает ее по-хозяйски, как тонна одеял. За Корнилиуса Бренда чувствует ответственность. Может, она теперь станет ответственной и за этого тоже?

Нил развернул машину и готов уехать обратно. Бренде пора выходить и садиться в свой фургон. Нил снимает руки с руля, не заглушая мотор, разминает пальцы, потом опять хватается за руль, причем с силой – кажется, с достаточной, чтобы сплющить руль в лепешку.

– Господи, да не вылезай ты! – говорит он. – Не вылезай пока!

Она даже руку на дверь еще не положила, не сделала ни единого движения, чтобы вылезти. Он что, не понимает, что происходит? Может, чтобы это понимать, нужно прожить много лет в браке и наработать опыт ссор. Чтобы знать: то, что тебе кажется полным концом всего – даже если этот конец желанен, – может быть лишь началом новой стадии, продолжением. Вот что происходит сейчас, вот что произошло. Он слегка поблек в ее глазах; возможно, навсегда. Вероятно, и она для него тоже немного поблекла. Она чувствует в нем тяжесть, гнев, удивление. И в себе – то же самое. Она говорит себе, что до сих пор все было просто.

Менстанг

I

Водосбор, лапчатка,

Дикий бергамот —

Наберем охапку,

Встанем в хоровод[2 - Здесь и далее, если не оговорено иное, перевод стихов выполнен Т. Боровиковой.].

Книга называется «Приношения». Золотые буквы на тускло-голубой обложке. Ниже – полное имя автора: Альмеда Джойнт Рот. «Страж», местная газета, именует ее не иначе как «наша поэтесса». В этих словах звучит смесь уважения и презрения как к ее таланту, так и к ее полу – или к их предсказуемому сочетанию. В начале книги – фотография с именем фотографа в углу и датой: 1865. Книга вышла несколько позже, в 1873 году.

У поэтессы продолговатое лицо и длинный нос; выпуклые, меланхоличные темные глаза, что, кажется, вот-вот выпадут и покатятся по щекам, словно огромные слезы; пышные темные волосы уложены вокруг лица ниспадающими валиками и каскадами. В них ясно видна седая прядь, хотя девушке на фотографии всего двадцать пять лет. Ее нельзя назвать хорошенькой, но, похоже, она из тех, кого возраст не портит; вероятно, она с годами не располнеет. На ней подогнанное вытачками и украшенное галуном темное платье или жакет; V-образный вырез заполнен чем-то белым, пышным, кружевным – не то оборки, не то бант. На голове шляпа – возможно, бархатная; темная, под стать платью. Шляпа, мягкая и ничем не украшенная, отчасти напоминает берет, что намекает на художественные наклонности (или, возможно, застенчивость и упрямую эксцентричность) молодой женщины; длинная шея и склоненная вперед голова показывают также, что она высока, стройна и отчасти неуклюжа. От талии вверх она весьма похожа на юного дворянина каких-то былых времен. Но, возможно, такова была мода той эпохи.

«В 1854 году, – пишет Альмеда Рот в предисловии к своей книге, – отец привез нас – матушку, сестру Кэтрин, брата Уильяма и меня – на дикий (каким он был тогда) канадский запад. Отец мой, шорник по ремеслу, был, однако, весьма образованным человеком; он цитировал по памяти Библию, Шекспира и труды Эдмунда Берка. Дело его процвело в этих только что освоенных землях; он смог открыть собственную лавку конской упряжи и изделий из кожи и через год – построить весьма удобный дом, в котором я ныне живу (одна). Мне, старшей из детей, было четырнадцать лет, когда мы приехали в эти края из Кингстона, чьи прекрасные улицы я с тех пор не видела, но часто вспоминаю. Сестре было одиннадцать лет, а брату девять. На третье лето нашего пребывания здесь брат и сестра заразились ходившей по городу лихорадкой и умерли с разницей лишь в несколько дней. Милая моя матушка не смогла оправиться от удара, нанесенного нашей семье. Здоровье ее пошатнулось, и по прошествии трех лет

умерла и она. Тогда я стала вести дом отца и с радостью выполняла эту работу на протяжении двенадцати лет, пока отец не скончался внезапно однажды утром у себя в лавке.

С ранних своих лет я находила утешение в рифмах и занимала себя – а иногда и утешалась в бедах, коих, я знаю, выпало мне отнюдь не более, чем любому другому страннику в земной юдоли, – неловкими попытками сочинения стихов. И в самом деле, пальцы мои были слишком неуклюжи для вязания крючком, и прекрасные вышивки, часто видимые нами сегодня, – корзины фруктов, голландские мальчики, девы в капорах, поливающие цветы из лейки, – не покорились моему мастерству. И вот взамен как плод своего досуга я предлагаю читателю эти безыскусные куплеты – баллады, поэмы, размышления».

Вот названия некоторых стихотворений и поэм: «Детские игры», «Цыганская ярмарка», «Навещая семью», «Ангелы в снегу», «Шамплен в устье реки Менстанг», «Кончина старого леса», «Садовая смесь». В сборнике есть и другие стихи, покороче – о птицах, полевых цветах, метелях. А также стихотворение, задуманное как комическое, – ряд куплетов, описывающих мысли прихожан в церкви во время проповеди.

«Детские игры»: стихотворение написано от лица девочки, играющей с сестрой и братом. Игра состоит в том, чтобы заманить и перетянуть детей из другой команды на свою сторону. Она играет в сгущающихся сумерках и постепенно понимает, что она давно уже не ребенок и что рядом никого нет. Но она по-прежнему слышит голоса (призрачные) сестры и брата, которые зовут: «К нам, к нам! Меда, к нам!» Вероятно, Альмеду в семье звали уменьшительным «Меда», а может быть, она сократила свое имя, чтобы уложить в стихотворный размер.

«Цыганская ярмарка»: цыгане разбили табор, «ярмарку», недалеко от деревни; они торгуют тканями и побрякушками, и девочка-рассказчица боится, что цыгане ее украдут, заберут у семьи. Но вместо этого семью забирают у нее – забирают такие цыгане, с которыми она уже не может торговаться, да и найти их не может.

«Навещая семью»: визит на кладбище и беседа с покойными – точнее, монолог.

«Ангелы в снегу»: когда-то поэтесса научила брата и сестру «делать ангелов» – ложиться в снег и махать руками, чтобы выходил отпечаток фигуры с крыльями.

Но брат всегда был нетерпелив и вскакивал слишком рано; его ангелы выходили кривыми на одно крыло. Исцелятся ли они в раю или так и будут летать, припадая на одно крыло, кругами?

«Шамплен в устье реки Менстанг»: поэма, иллюстрирующая легенду (исторически неточную) о том, что знаменитый путешественник проплыл вдоль восточного берега озера Гурон и высадился возле устья большой реки.

«Кончина старого леса»: список всех деревьев – названия, внешний вид, свойства и применение, – которые росли в первозданном лесу и были срублены, и общие описания фауны этого леса – медведей, волков, орлов, оленей, водяных птиц.

«Садовая смесь»: вероятно, задумана как парная к поэме о лесе. Перечень садовых растений, привезенных из разных европейских стран, с приложением исторических сведений и легенд. Эта пестрая смесь образует нечто подлинно канадское.

Стихи написаны куплетами или четверостишиями. Встречаются попытки изобразить сонет, но в основном схема рифмовки весьма проста: «абаб» или «абвб». Используется в основном так называемая мужская рифма («река – пока»), хотя встречается и женская («рая – играя»). Знакомы ли нынешние читатели с этой терминологией? Нерифмованных стихотворений в сборнике нет.

II

Где ангелы резвилися, играя,

Мороз рисует ныне розы на снегу.

Взлетят ль они к дверям Господня рая

Или останутся на дольнем берегу?

В 1879 году Альмеда Рот все еще жила на углу улиц Перл и Дафферин, в доме, построенном ее отцом для семьи. Дом стоит и поныне; живет в нем управляющий магазином алкогольных напитков. Стены обшили алюминиевым

сайдингом, а некогда открытую веранду остеклили. Дровяной сарай, забор, ворота, уборная во дворе, амбар – все исчезло. Сохранилась фотография 1880-х годов, на которой эти строения еще присутствуют. Дом и забор выглядят несколько обветшалыми, будто нуждаются в покраске, но, может быть, лишь из-за того, что старинная фотография побурела и поблекла. Окна с кружевными занавесками похожи на белые глаза. У дома нет ни одного большого тенистого дерева: высокие вязы, прикрывавшие город от солнца до 1950-х годов, а также клены, чьей тенью мы пользуемся сейчас, в те времена были еще хрупкими саженцами, которые лишь ограда спасала от пожирания скотом. Без тени все выглядит неуместно открытым: задние дворы, бельевые веревки, поленницы, сколоченные из разномастных досок сараи, амбары и отхожие места кажутся оголенными, какими-то вре?менными. Очень мало домов, перед которыми было бы что-либо похожее на газон, – в основном голая земля с муравейниками, кое-как разровненная и поросшая подорожником. Кое-где на пнях стоят деревянные ящики с петуниями. Гравием посыпана только главная улица; остальные – проселочные дороги, грязные или пыльные, соответственно времени года. Везде заборы, чтобы не забредали животные. Коров привязывают пастись на незастроенных участках или на задних дворах, но иногда они сбегают на волю. Свиньи тоже часто сбегают, а собаки свободно бродят по городу или вольготно спят посреди тротуаров. Город пустил корни, он уже не исчезнет в одночасье, но все еще хранит некоторое сходство с лагерем поселенцев. И в нем, как в лагере, царит суматоха: он полон людей, которые ходят по своим делам как им заблагорассудится; полон животных, оставляющих на земле конские яблоки, коровьи лепешки, собачьи колбаски, так что дамам приходится подбирать подолы; полон строительного лязга, воплей возчиков «Но-о-о!» и «Тпру!» и шума поездов, прибывающих несколько раз в сутки.

Я читаю об этой жизни в старых выпусках «Стража».

Население города моложе, чем сейчас; таким молодым оно уже никогда не будет. Люди, которым за пятьдесят, обычно не приезжают на новое, практически пустое место. На кладбище уже немало могил, но и покойники молоды – скончались от разных эпидемий или умерли родами. Дети – мальчики – объединяются в шайки и прочесывают улицы. Посещение школы обязательно лишь четыре месяца в году, и в городе множество работы, посильной даже для восьми-девятилетнего ребенка: теребить лен, придерживать лошадей, доставлять на дом покупки, подметать тротуары перед магазинами. Эти мальчики много времени проводят в поисках развлечений. Однажды они увязываются за пожилой женщиной, пьяницей по прозвищу Королева Агги. Они грузят ее в тачку и провозят по всему городу, а потом вываливают в канаву,

чтобы протрезвела. Много времени они проводят и на железной дороге, вокруг станции. Они запрыгивают в вагоны, которые тянет маневровый паровоз, носятся между ними, подначивают друг друга; в результате мальчишки регулярно калечатся или гибнут. Еще они следят за незнакомцами, прибывающими в город. Увязываются вслед, предлагают поднести чемодан и показать (за пять центов) дорогу в гостиницу. Если чужак выглядит небогатым, его дразнят и травят. Всех незнакомцев окутывает пелена подозрения, словно облачко мух. Зачем они приехали в город – начать свое дело, торговать чудодейственными снадобьями или патентованными приспособлениями, проповедовать на улицах, уговаривать горожан вложить деньги в какую-нибудь финансовую схему? Все это возможно, и все это случается. Будьте начеку, предупреждает «Страж». Мы живем во времена неограниченных возможностей, но также и в опасные времена. Бродяги, мошенники на доверии, лоточники, стряпчие по темным делам, да и просто воры странствуют по дорогам, особенно – по железным дорогам. Об ущербе становится известно: кто-то вложил деньги и больше их не увидел, у кого-то пропадают брюки с бельевой веревки, дрова из поленницы, яйца из курятника. В жаркую погоду таких инцидентов бывает больше.

И несчастных случаев тоже. В жаркую погоду лошадь больше склонна понести, переворачивая повозку. Руки защемляет в отжимных валиках при стирке. На лесопилке рабочего разрезало пополам. Мальчик прыгал по бревнам на лесоскладе, бревна покатились, и его задавило насмерть. В жару все плохо спят. Младенцы чахнут от летней хвори. Толстяки страдают одышкой. Умерших приходится хоронить немедля. Однажды на улице появляется человек, который кричит: «Покайтесь! Покайтесь!» – и трезвонит в коровий колокольчик. Но это не чужак, а здешний житель, продавец в мясной лавке. Отведите его домой, заверните в холодные мокрые простыни, дайте лекарства от нервов, держите в постели и молитесь, чтобы рассудок к нему вернулся. Иначе его отправят в приют для душевнобольных.

Фасад дома Альмеды Рот смотрит на Дафферин-стрит, весьма респектабельную улицу. Здесь живут оптовые торговцы, хозяин лесопилки, владелец соляного промысла. Но Перл-стрит, куда выходят задние окна и ворота заднего двора Альмеды, – совсем другое дело. С этой стороны ее дом соседствует с жилищами рабочих. Небольшими, но приличными таунхаусами. Это ничего. Но если пойти дальше по Перл-стрит, то к концу квартала дома становятся похуже, а следующий – последний перед болотом – квартал и вовсе ужасен. Там, возле болота, называемого трясиной Перл-стрит (и ныне осушенного), никто не станет жить, кроме распоследних бедняков, недостойных и не заслуживающих помощи.

Там растут пышные кустистые сорняки и стоят кое-как сколоченные хижины, окруженные кучами отбросов и хлама. Там бегают орды худосочных детей, а помои выплескивают прямо из дверей на улицу. Муниципальные власти пытаются заставить тамошних обитателей строить уборные, но те предпочитают ходить по нужде в кусты. Если сюда забежит шайка мальчишек в поисках приключений, то, скорее всего, найдет чего не искала. Говорят, что даже городской полицейский не рискует заглядывать в конец Перл-стрит в субботу вечером. Альмеда Рот никогда не ходила по Перл-стрит дальше таунхаусов. В одном из них живет Энни, молодая девушка, приходящая к Альмеде убирать дом. Энни, будучи порядочной девушкой, также никогда не ходит в последний по своей улице квартал или к болоту. Ни одна приличная женщина туда ногой не ступит.

Но это же самое болото, лежащее к востоку от дома Альмеды Рот, на восходе солнца являет собой дивное зрелище. Альмеда спит в задней части дома. Она осталась в той же спальне, которую некогда делила с сестрой, Кэтрин, – для нее немыслимо было бы перебраться в большую переднюю спальню, где когда-то ее мать лежала в постели целыми днями и где потом одиноко властвовал отец. Из окна Альмеда видит, как восходит солнце, как болотный туман наливается светом, как большие деревья, стоящие поближе, будто плавают в этом тумане, а те, что подальше, становятся прозрачными. Болотные дубы, красные клены, лиственницы, гикори.

III

Где Менстанг катит волны на просторе,

Под сению лесов я мыслю о былом.

И о народах, чьих мы не увидим боле

Шатров-вигвамов на брегу крутом.

Одним из чужаков, прибывших в город поездом за последние годы, был Джарвис Полтер, ныне живущий по соседству с Альмедой Рот. Их дома стоят рядом на Дафферин-стрит, разделенные пустым участком, также принадлежащим Полтеру. Его дом проще, чем у Альмеды, ничем не украшен, перед ним нет ни

плодовых деревьев, ни цветов. Все понимают, что иначе и быть не может, поскольку Полтер вдовец и живет один. Мужчина может поддерживать дом в пристойном виде, но никогда – если он настоящий мужчина – не станет его украшать. Вступив в брак, мужчина вынужден мириться с разными украшательствами и сантиментами. Брак спасает его от крайностей собственной натуры – от жесткой скупости или чрезмерной роскоши и лени, от зарастания грязью, от манеры подолгу спать и от злоупотребления всякого рода излишествами – чтением, курением, спиртными напитками, вольнодумством.

Как всем известно, некий почтенный горожанин упорно пользуется водой из общественной колонки, а запас топлива пополняет, подбирая упавшие куски угля у железной дороги. Не сочтет ли он нужным взамен одарить город или железнодорожную компанию некоторым количеством соли?

Таков «Страж», полный застенчивых шуточек, намеков и открытых обличений – сегодня подобное ни одной газете не сошло бы с рук. Речь идет о Джарвисе Полтере, хотя в других местах газета упоминает его с большим уважением как мирового судью, работодателя, усердного прихожанина. Дело в том, что он на виду. Он до определенной степени эксцентричен. Все это может быть следствием одинокой жизни, вдовства. Даже то, что он носит воду в ведре из городской колонки и ходит на железную дорогу собирать упавшие куски угля в ведерко. Он достойный гражданин, дела его процветают. Он высокий (может быть, с небольшим животиком?), в темном костюме и начищенных до блеска ботинках. Борода? Черные волосы с проседью. Вид у него суровый и собранный. Большая бледная бородавка проглядывает посреди одной кустистой брови? Ходят слухи о молодой, красивой, горячо любимой жене, умершей родами или от какого-нибудь ужасного несчастья вроде пожара или крушения поезда. Никаких оснований для этих слухов нет, но они добавляют интереса. Сам Полтер сообщил только, что жена его скончалась.

В эти места Полтер приехал в поисках нефти. Первую в мире нефтяную скважину пробурили в округе Лэмтон, к югу отсюда, в пятидесятых годах девятнадцатого века. Ища нефть, Джарвис Полтер нашел соль. И принялся делать на ней деньги. Идя из церкви домой рядом с Альмедой Рот, он рассказывает ей про свои соляные колодцы. Их глубина тысяча двести футов. В них нагнетают горячую воду, и она растворяет в себе соль. Рассол выкачивают насосами на поверхность земли и заливают в огромные сковороды, под которыми поддерживается постоянный небольшой огонь, так что вода испаряется и остается чистая, прекрасная соль. Товар, на который всегда будет

спрос.

– Соль земли, – говорит Альмеда.

– Да, – хмурясь, отвечает он. Возможно, он счел ее слова неучтивыми. Она не хотела его обидеть. Он заговаривает об иногородних конкурентах, которые все повторяют за ним и хотят захватить рынок. К счастью, у них колодцы не так глубоки или выпарка не столь эффективна. Под этой землей соль лежит повсюду, но ее не так легко найти, как считают некоторые.

Не значит ли это, говорит Альмеда, что здесь некогда плескалось великое море?

Весьма возможно, отвечает Джарвис Полтер. Весьма возможно. Он начинает рассказывать ей о других своих предприятиях – кирпичном заводе, печи для отжига извести. Он объясняет, как все это работает и где можно найти хорошую глину. Он также владеет двумя фермами с участками леса, откуда берет дрова для своих промыслов.

В одно прекрасное воскресное утро мы заметили среди парочек, возвращающихся из церкви, некоего просоленного джентльмена и одну литературную даму – оба уже утратили нежный цвет юности, но еще не прихвачены морозом преклонных лет. Можем ли мы сделать определенные выводы?

«Страж» все время подпускает какие-нибудь намеки.

Могут ли они сделать определенные выводы? Ухаживание ли это? У Альмеды Рот есть деньги – наследство отца – и собственный дом. Она еще достаточно молода, чтобы родить одного-двух детей. Она хорошая хозяйка, печет причудливые торты с глазурью и затейливо украшенные корзиночки – талант, частый у старых дев. (Почетное упоминание на конкурсе городской осенней ярмарки.) Внешность у нее вполне приятная, и фигура, конечно, гораздо лучше сохранилась, чем у ее замужних ровесниц, не пострадала от деторождения и домашней работы. Но почему женихи обходили ее раньше, когда она только вступила в брачный возраст, в городе, где женщинам положено выходить замуж и рожать? Девушкой она была невесела – возможно, в этом дело. Кончина брата и сестры, а затем матери (которая, кстати говоря, за год до смерти утратила рассудок и слегла в бреду) омрачили ее нрав, так что ее нельзя было назвать приятной

собеседницей. И потом, вся эта одержимость чтением, поэзией – в молодой девушке она была изъяном, препятствием к браку, в отличие от зрелой женщины, которой, в конце концов, надо чем-то убивать время. И вообще, она уже лет пять как опубликовала свою книжку, так что, может быть, наконец успокоилась. А может, ее просто поощрял честолюбивый, начитанный отец.

Все считают само собой разумеющимся, что Альмеда Рот видит в Джарвисе Полтере будущего мужа и согласится, если он сделает ей предложение. И она в самом деле о нем думает. Она не хочет строить воздушных замков, чтобы не опростоволоситься. Она хочет дождаться, пока он подаст отчетливый знак. Если бы Полтер по воскресеньям ходил в церковь не только утром, но и вечером, иногда им пришлось бы возвращаться уже затемно. Он нес бы фонарь (уличного освещения в городе еще нет). Он раскачивал бы фонарем, освещая дорогу перед ножками дамы, и заметил бы, какие они узкие и изящные. Он придерживал бы ее под локоть при сходе с тротуара. Но он не бывает у вечерни.

Он также не заходит за Альмедой утром по воскресеньям, чтобы идти на службу вместе. Это было бы равносильно официальному объявлению. Он провожает ее из церкви, проходит мимо своих ворот до ее дома; здесь он приподнимает шляпу и удаляется. Она никогда не приглашает его зайти – для одинокой женщины это немыслимо. Если мужчина и женщина (все равно какого возраста) находятся наедине в закрытом помещении, люди имеют право предполагать что угодно. Спонтанное самовозгорание, приступ страсти, внезапный блуд. Грубый инстинкт, триумф чувственности. Какие же притягательные перспективы видят друг в друге мужчины и женщины, предполагая подобную опасность! И как часто, зная об опасности, должны они думать о перспективах!

Идя рядом с ним, Альмеда обоняет запахи его мыла для бритья, масла для бороды, трубочного табака; мужские запахи кожи, шерсти и льна от его одежды. Правильная, солидная, тяжелая одежда – совсем как та, что Альмеда когда-то чистила, крахмалила и гладила для отца. Она скучает по этой работе – ей не хватает благодарности отца, его мрачной, но благожелательной тирании. Одежда Джарвиса Полтера, его запахи, жесты – от всего этого у Альмеды экстатически покалывает кожу на ближнем к нему боку и кроткая дрожь пробегает по телу, вздыбливая волоски на руках. Значит ли это, что Альмеда в него влюблена? Она грезит, как он входит в ее – их – спальню в кальсонах, нижней рубашке и шляпе. Альмеда знает, что этот наряд нелеп, но в ее грезах он таким не выглядит; Джарвис серьезен и целеустремлен, как бывает во сне. Он входит, ложится на кровать рядом с Альмедой и собирается заключить ее в

объятия. Но ведь, конечно же, он должен для этого снять шляпу? Альмеда не знает – в этот миг ее охватывает радостная покорность, она подавляет вздох наслаждения. Он будет ее мужем.

Она подметила одну черту у замужних женщин: они часто изобретают своих мужей. Приписывают им предпочтения, мнения, диктаторские замашки. О да, говорят они, мой муж чрезвычайно разборчив. Он не приемлет турнепс ни в каком виде. Он в рот не берет жареное мясо. (Или: он в рот не берет ничего, кроме жареного мяса.) Он требует, чтобы я одевалась только в синее (или коричневое). Он терпеть не может органную музыку. Он считает, что женщина, выходя из дому, обязана надеть шляпу. Он убьет меня, если я хоть раз закурю. Так мужчины – растерянные, не глядящие в глаза – подвергаются переделке, и из них выходят мужья, главы семейств. Альмеда Рот не может представить себя в роли жены, переделывающей мужа. Ей нужен муж, не требующий доделок, уже твердый, решительный, загадочный для нее. Она не ищет родную душу. Ей кажется, что мужчины – за исключением ее отца – лишены чего-то важного, некого любопытства. Конечно, это необходимо, иначе они не смогут выполнять свое жизненное предназначение. Вот сама она, узнав, что под землей лежит соль, стала бы искать способ добыть и продать ее? Вряд ли. Она бы погрузилась в мысли о древнем море. А Джарвис Полтер не тратит время на бесплодные размышления, и совершенно правильно.

Вместо того чтобы зайти за ней утром перед церковной службой, Джарвис Полтер может прибегнуть к другому, более трудоемкому способу объявить о своих чувствах. Он может нанять лошадь и пригласить Альмеду покататься за городом. Если он так сделает, Альмеда будет одновременно рада и огорчена. Рада быть рядом с ним, сидеть в повозке, когда он правит, на виду у всего мира получать знаки его внимания. А огорчена тем, что загородная прогулка для нее пропадет – все застит его беседа, разговоры, интересные только ему. Альмеда много писала о природе в своих стихах, но на самом деле для встречи с природой нужно упорство: требуется преодолеть немало препятствий. Кое на что приходится закрывать глаза. Навозные кучи, конечно. Заболоченные поля, где торчат высокие обугленные пни и лежат огромные вороха срубленных кустов – их спалят, когда выдастся подходящий день. Блуждающие ручейки спрямлены и превращены в канавы с высокими глинистыми берегами. Поля и пастбища кое-где огорожены большими неуклюжими древесными комлями; другие – изгородями из жердей. Деревья вырублены везде, вплоть до лесных делянок. На всех делянках лес уже порослевый, вторичный. Ни вдоль дорог, ни вокруг ферм деревьев нет – только молодые чахлые саженцы. Видны скопления сараев из неотесанных бревен (огромные амбары, которые будут преобладать в

этих полях в ближайшие сто лет, только начали строить), унылые бревенчатые домишки, через каждые четыре-пять миль попадается жалкое село с церковью, школой, лавкой и кузницей. Голая местность, только что выгрызенная у леса, но уже кишащая людьми. На каждой сотне акров стоит ферма, на каждой ферме живет семья, в каждой семье по десять-двенадцать детей. (Отсюда пойдут – уже пошли – волны переселенцев дальше на север и на запад.) Это правда, что по весне на вырубках можно собирать цветы, но сначала надо пробиться через стада рогатых коров.

IV

Но табор снялся с места,

Цыган простыл и след.

Ах, я б поторговалась,

Да ярмарки уж нет.

Альмеда часто страдает бессонницей, и врач дал ей бром и капли от нервов. Она принимает бром, но от капель у нее начались чрезвычайно яркие, пугающие сны, так что она отложила флакон подальше, на самый крайний случай. Она пожаловалась доктору, что у нее глаза сухие, как горячее стекло, и суставы болят. Не читайте так много, сказал доктор, не сидите над книгами; постарайтесь хорошенько утомить себя домашней работой, совершайте моцион. Доктор считает, что все ее проблемы решатся замужеством. Он верит в это, хотя бо?льшая часть пациенток, которым он прописывает свои капли от нервов, замужем.

Альмеда устраивает генеральную уборку у себя дома, участвует в уборке церкви, помогает всем подругам, которые переклеивают обои или готовятся к свадьбе, печет свой знаменитый торт для пикника воскресной школы. В одну жаркую августовскую субботу она решает сварить желе из виноградного сока. Баночка такого желе – прекрасный подарок к Рождеству или приношение больному. Но Альмеда начала слишком поздно, и к концу дня желе еще не готово. Она только что вывалила горячую массу в марлю, чтобы процедить. Альмеда пьет чай с куском кекса, намазанным маслом (детская причуда), и этого

ей достаточно для ужина. Она моет голову у раковины и обтирается влажной губкой, готовясь к воскресенью. Лампу она не зажигает. Она ложится на кровать – окно спальни широко распахнуто, Альмеда прикрылась только простыней, и то лишь до пояса. Она чувствует роскошную усталость. Ей даже чудится легкий ветерок.

Она просыпается среди ночи, жаркой, как печь, и полной опасностей. Она лежит на кровати, истекая потом, и ей кажется, что доносящийся шум – скрежет ножей, пил, топоров и все они злобно сверлят, рубят и пилят ее голову. Но это не так. Окончательно проснувшись, Альмеда узнает звуки, которые слышала и раньше, – суматоху субботней летней ночи на Перл-стрит. Шум обычно связан с дракой. Обитатели квартала пьяны, кто-то из них протестует, кто-то подбадривает дерущихся, кто-то кричит: «Убивают!» Однажды там и впрямь кого-то убили. Но не в драке. Зарезали старика, обитателя одной из хижин, – вероятно, из-за нескольких долларов, спрятанных у него под тюфяком.

Она встает и подходит к окну. Ночное небо – чистое, безлунное – усыпано яркими звездами. Прямо перед ней, над болотом, висит созвездие Пегаса. Его когда-то показал ей отец. Альмеда машинально пересчитывает звезды. Теперь она различает отдельные голоса в общем гаме. Кого-то из этих людей, как и ее, разбудил шум. «Заткнитесь! – вопят они. – Заткните глотки, а то я сейчас выйду и шкуры-то вам повыдублю!»

Но никто не затыкается. По Перл-стрит словно катится огненный шар, сыпля искрами, – только он не из огня, а из шума; в стороны разлетаются вопли, смех, визг, проклятия. Искры – это взмывающие над ним отдельные голоса. Постепенно Альмеда начинает различать два голоса. Один – плач с подвыванием, который то нарастает, то затихает, а другой – нескончаемый, пульсирующий на низких нотах поток ругательств: слов, которые у нее ассоциируются с опасностью, преступниками, мерзкими запахами и отвратительными зрелищами. Там кого-то бьют, и этот человек кричит: «Убей меня, убей!» Это женщина, женщину бьют. Она непрерывно вопит: «Убей меня, убей меня!» – порой захлебываясь, словно рот наполняется кровью. Но кажется, что она отчасти дразнит, провоцирует. В этом крике есть что-то театральное. А люди кругом кричат: «Не надо, хватит!» или «Убей ее, убей ее!» – охваченные безумием, словно в театре, на спортивном матче или на боксерском поединке. Да, думает Альмеда, я и раньше замечала: все, что они делают, – это отчасти игра в шарады, неуклюжая пародия, преувеличение, пропущенное звено. Словно любые действия – даже убийство – кажутся людям не совсем реальными, но они

бессильны остановиться.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Соответствуют псалмам 73 и 77 в православной традиции. (Здесь и далее – примеч. перев.)

2

Здесь и далее, если не оговорено иное, перевод стихов выполнен Т. Боровиковой.

Купить: https://tellnovel.com/ru/manro_elis/drug-moey-yunosti-sbornik

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить